

Эфраим Баух

Ницше и нимфы

роман



Ницше – не просто имя человека, – это кайнов знак на челе двадцатого века, возникающий силой его визионерства и пророчества.

Нимфы – женщины в его жизни, забивающие его гений своими пронзительными голосами – земная месть этому существу из плоти и крови, самому себя невыдерживающему своей гениальности.

Эфраим Баух
Ницше и нимфы

«Книга-Сэфер»

2014

Баух Э.

Ницше и нимфы / Э. Баух — «Книга-Сэфер», 2014

Новый роман крупнейшего современного писателя, живущего в Израиле, Эфраима Бауха, посвящен Фридриху Ницше. Писатель связан с «темой Ницше» еще с времен кишиневской юности, когда он нашел среди бумаг погибшего на фронте отца потрепанные издания запрещенного советской властью философа. Роман написан от первого лица, что отличает его от общего потока "Ницшеаны". Ницше вспоминает собственную жизнь, пребывая в Йенском сумасшедшем доме. Особое место занимает отношение Ницше к Ветхому Завету, взятому Христианством из Священного писания евреев. Странная смесь любви к Христу и отторжения от него, которого он называет лишь "еврейским равином" или "Распятым". И, именно, отсюда проистекают его сложные взаимоотношения с женщинами, которым посвящена значительная часть романа, но, главным образом, единственной любви Ницше к дочери русского генерала Густава фон Саломе, которую он пронес через всю жизнь, до последнего своего дня... Роман выходит в год 130-летия со дня смерти философа.

© Баух Э., 2014

© Книга-Сэфер, 2014

Содержание

Прелюдия. Опус №1	7
В паутине снов	7
Предшественник	16
Прогулка	18
Кредо	26
Музыка	27
Прелюдия. Опус №2	36
Я – лабиринтный человек.	36
Часть первая. Йена	39
Глава первая.	39
Тетушка Розалия	39
Ночь под звездой проклятия	46
Глава вторая	51
Белокожая графиня и смуглая леди публичного дома	51
Пыльный шлейф печали	52
Два лика: темный и светлый	53
Глава третья	64
Инстинкт родства	64
Жатва душ продолжается	68
Профессор в двадцать четыре года	73
Глава четвертая	76
Под крылом ястреба или орла?	76
Глава пятая	87
Рождение трагедии	87
Конец ознакомительного фрагмента.	91

Эфраим Баух

Ницше и нимфы

*Осенний сумрак – ржавое железо
Скрипит, поет и разъедает плоть...
Что весь соблазн и все богатства Креза
Пред лезвием твоей тоски, Господь!*

.....

*И бесполезно, накануне казни,
Видением и пеньем потрясен,
Я слушаю, как узник, без боязни
Железа визг и ветра темный стон.*

Осип Манделштам

*Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как
и псу живому лучше, нежели мертвому льву.*

Екклесиаст, 9

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ ЖИЗНИ ФРИДРИХА-ВИЛЬГЕЛЬМА

Редактор Виталий Кабаков

Оформление Генеса Неплох

В оформлении использована гравюра Питера Брегеля



Ницше – не просто имя человека, – это каинов знак на челе Двадцатого века, возникающий силой его визионерства и пророчества.

Нимфы – женщины в его жизни, забивающие его гений своими пронзительными голосами – земная месть этому, самому себя не выдерживающему своей гениальности, существу во плоти и крови.

Эфраим Баух

Прелюдия. Опус №1

В паутине снов

1

Я – Ничто, по-змеиному свернувшееся кольцом, – головой к ногам.

Я еще могу *не быть*.

Я еще это воспринимаю с небесной легкостью несуществования.

Я плаваю в ковчеге абсолютного равнодушия – комочек бездыханный и безъязыкий.

Мое Начало зажало змеиное жало впившегося Ничто – моего Конца.

И в то же время в этой слитности я, как никогда раньше, ощущаю отъединенную, полную самой собой свою личность, ту, подобную твердой косточке собственную сущность, которую у меня никто и никогда не сможет отнять.

Эта наполнение самим собой, вероятно, может возникнуть только в неволе, в этой пропахшей лекарствами палате с намертво законопаченными окнами, по сути, в каменном мешке. Это для меня явно новое неизведанное, впервые в моей жизни пришедшее и ощущаемое чувство, и неясно, откуда оно явилось.

Вам ли, профессора, набитые университетской чувью, понять, что это за феномен – сны.

Именно, сны потрясают своей прерывностью, прозрачностью, внезапной бездыханностью, мгновенной вспышкой потустороннего мира.

Эти вспышки, ослепляющие прозрениями, стали стилем моего письма.

Повторность фрагментов, и тем не менее, нечто новое, порождает открытое мною "вечное возвращение" того же самого, а вовсе не тавтологию.

Сны – отдушина или удушение?

Меня, Фридриха-Вильгельма, вырвал из сна удушающий страх. Волосы встали дыбом. Мозг точила мысль примитивно четкая и убойная – живое рождается из мертвого и возвращается в мертвое.

Как омерзительные "дважды два-четыре".

Неорганическое объемлет органическое.

Мертвое повторяется дважды, – неумолимое, всеохватное, обложившее навек. Живое – один раз, короткий миг, первый вдох и последний выдох, мимолетный луч света в плотной, не сдвигаемой, урчащей от собственного непонимания этих утробных механических звуков, слежавшейся, черной дыре – в Ничто.

Вынырнуло, витком из подсознания, это мертвое, хотя и красиво звучащее слово – энтропия. Знак абсолютного исчезновения, несущий, как наседка, семена грядущей всеобщей гибели. Энтропия, замыкающая саму себя долгожданным "концом", всеобщим Зиянием, поглотившим мгновенное Сияние.

Тьма поглотила свет моего существования в духе, не обычный свет, а со звоном в ушах как перед обмороком, мороком, страхом исчезновения, и в то же время с непереносимой жаждой этого света.

Не меньше потрясает явление тьмы. Несут ее огненные кони, в детстве моем унесшие Илью-пророка на небо вместе с моей верой в Бога. Устанавливается тишина с запахом степных трав, влажным дыханием колодцев, звуком льющейся воды или самой жизни, ведь вода –

реальный, бодрящий звук жизни. Тьма эта требует себе законное место в порядке Вселенной и душе человеческой.

Вот и сейчас, в дремотном состоянии, различаю в углу палаты смерть. Она скалит зубы, она всегда таится за портьерой, как пробравшийся под покровом тьмы и ставший завсегда-таем палаты вор. Выгнать ее никто не может, ибо здесь повелевает она и привычно, позевывая, закрывает каждому счет. С каким легкомыслием в "Заратустре" я восхвалял "смерть вовремя". Вот, время пришло, и я как утопающий, дергаю руками и ногами, чтобы остаться на плаву. Тупые эскулапы этой обители скорби принимают это за судорожную агрессивность сумасшедшего. Ядовитые мухи безбоязненно обсиживают мое лицо, глазницы, усы. Ядовитые черви гложут мое сердце. А я изо всех сил сопротивляюсь самому себе, тому, кто так бесшабашно, не задумываясь, призывал себе по молодости – смерть.

2

А всему виной тот иудей, Иисус, Распятый, который слишком рано умер: гнала его тоска к смерти. О, как я ощущаю его иудейскую скорбь и слезы, как завидую его участи, я, внешне бравое отрицающий право на существование всего перезревшего и гниющего на Древе жизни. Я обливаюсь слезами, ибо не могу смириться с тем, что он сам обрек себя на крест. А ведь мог остаться на Тивериадском море, или уйти в пустыню. Дожил бы он хотя бы до моих лет, отрекся бы от своего учения, ибо был достаточно благороден.

Иисус это вовсе не христианство, как и я, оболганный, выброшенный из жизни, доживающий, как непогашенный окурок, ожидающий быть раздавленным пятой смерти, вовсе не ницшеанец.

Разве это не цепляние за последние крохи жизни, когда я в "Заратустре" патетически желаю, чтобы моя, с позволения сказать, добродетель, мой истаивающий дух, горели, как вечерняя заря над притихшей в благоговении перед приближающейся Тьмой – землей?

В "Заратустре" я всеми силами своей души пытался избавиться от себялюбия.

Опыт не удался.

Удушие не проходит, длится целую вечность, рвущуюся из чрева, выдохнувшую себя в единственное слово – Ничто, NIHIЛ...

И "Божий лик" отмененного мной, Фридрихом-Вильгельмом, Бога "изобразился" в этом Ничто, как по памяти переводила на немецкий язык божественная Нимфа, моя дорогая Лу, стихи русского поэта со странной птичьей фамилией – Тютчев. Это перекликается с возникающей во мне жадной "самоуничтожения": исчезнуть, но хотя бы на миг, увидеть "Божий лик". Быть может, лишь ради этого стоит родиться?

*...Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Всё зримое опять покроют воды,
И Божий лик изобразится в них!*

Что бы я ни делал, каким бы гением себя не считал, каких глубин философии не достиг и постиг, в остатке мирового духа от меня останется одно: Ницше (какое странное имя!) умертвил Бога, открыл ящик Пандоры.

И прилежными стараниями моей сестрицы-дьяволицы, которой в младенчестве я дал кличку Лама, взятую из детской книжки, а также нашей Мамы и их подручных мелких бесов, упрятавших меня в эти стены, из этого ящика, напоминающего гроб, вырвется даже не Ангел смерти, а джин гибели. Вот он черным обложным обвалом, как эта черная ночь, навис над миром живых.

Имя мое будет проклято. Месту, согласно русскому поэту, быть пусто.

Но все же из теснин смерти взываю к следующим поколениям. Справедливости!

Они-то беспристрастно разберутся в том, что я истинно принес в этот мир. Или будут выпытывать друг у друга, ковыряясь в зубах после принятия пищи: Ницше? Да не мистификация ли это? Существовал ли он вообще, или это – фантом? И так удачно его выдумали, что имя его, хоть и начертано мелом, как список блюд в ресторане, нельзя стереть с доски мировой памяти.

Но у меня есть талисман – Лу!

Нет, не Лёля, как ее называла ее мать, жена русского генерала Густава фон Саломе. В имени Лёля нечто укачивающее, дремуче-русское, дремотное пребывание в состоянии до пробуждения разума. И не Луиза, как ее называли многие.

Люся – вот ее имя.

Лух– луч, тот самый, единственный, мимолетный, – света.

Лу – со странной фамилией – Саломе, не ты ли – наследница двух евреек – древней Юдифи, отсекшей голову полководцу Олоферну, и Саломеи, несущей на подносе отсеченную голову Иоанна Крестителя?

Какая у тебя страшная, сжимающая мне виски, родословная, любимая моя, незабвенная Лу.

И мама твоя – еврейка, даю голову на отсечение.

Легко сказать, но я, Фридрих-Вильгельм, в этот миг ощутил отсеченной свою голову – на блестящем, как лезвие, блюде.

Еще мгновение – и наступит смерть, если уже не наступила.

Надо кричать, мычать, но к кому взывать о помощи в этом всеобъемлюще засасывающем Ничто?

3

– Опять приступ, – внутренне содрогаясь, сказал ко всему привыкший доктор Бинсвангер. – Это животный крик в ощущении приближающейся смерти. Господи, такой ум.

Вкололи успокаивающее. Сон стал более спокойным.

* * *

И вот уже, обширные и глубинные сновидения, как необъятные плесы и морские дали, покачивают меня, Фридриха-Вильгельма. И приходят ко мне отец, мать, бабушка Олер, и Лу улыбается мне из-за их спин, как бы отнекиваясь, но и не отрицая совсем, что она-то и привела их, и вовсе не для того, чтобы пробудить тоску, заставить еще сильнее рваться в прошлое, куда пути обрублены и мосты сожжены.

Но я, Фридрих-Вильгельм, ни капельки не боюсь внезапного возникновения отца и матери: это вовсе не означает, что они явились по мою душу. И я счастлив. У меня такие золотые запасы воспоминаний. И слышен шепот Лу, или это шорох идет от штор в солнечной комнате с тенями, блуждающими по потолку и неизвестно откуда притекающей и куда уходящей, как вода в песок, и все же столь устойчивой и неисчезающей, нежностью.

Только во сне открывается ничем не ограниченная спонтанность, не знающая преград сосуществованию всех – живых и мертвых, то есть это абсолютная отдушина свободы души, клапан, освобождающий, пусть условно, но, тем не менее, ощутимо – от накопившихся в бдении страхов, душевной стесненности, боли от неудач и не свершившихся надежд. Человек оттесняет сны за пределы необходимой защиты души.

А ведь сны занимают половину, если не более, времени жизни.

Сны по самой своей сущности должны быть мимолетными, как исчезающие с дневным светом тени.

Но есть изредка сон, как горький корень, как мучающий болью зуб, который бы надо вырвать, и невозможно, так глубоко он засел.

Говорят, зуб мудрости.

Значит, правда, и я это познал всей собственной жизнью: у мудрости смертельно горький корень.

4

Неужели и вправду был так близок конец жизни? Иначе, зачем из обморочного тумана началом жизни моей высветилась церквушка в Рёккене, земном прибежище моего рождения. Говорят, первый признак ухода это – когда жизнь от начала и до конца пробегает перед глазами.

О, этот час донных снов, когда ночь еще в полном царствии, но уже неуловимым дуновением назревает нечто, несущее надежду о грядущем дне, не отравленном съедающими душу размышлениями о высоких материях, которые трещат и рвутся на глазах, час наибольшего – впрямую – соприкосновения мира живых с миром мертвых. Потом обметаны лица спящих людей, смертным бледным потом, и сердце слабо пульсирует.

Да, всю свою сознательную жизнь и по последнему человеческому счету я, Фридрих-Вильгельм, был бездомным, странником, преследуемым собственной тенью, ибо упрямо, несмотря на изнуряющий жар, шел навстречу ослепляющему солнцу. Да, я был чужим среди своих и своим среди чужих, и Шопенгауэр и Гейне были мне роднее всех близких и любимых. И душу мою согревало лишь предчувствие полета, возникающее на мостах. Я лишь боялся захлебнуться до ощущения неземного мгновения. Только это останавливало мой порыв, а, по сути, рывок через перила. Разве лишь потому меня можно считать больным или маньяком?

И снится медленно надвигающийся и вовсе не пугающий, а, наоборот, бодрящий своей студеной сахарной белизной, обступающий по всему пространству – ледник. И в нем уже проступают признаки будущего таяния. И, растаяв, он обнажит глубокие продольные пролежни, ущелья, долины, заполнив их оттаявшей и столь же ослепляющей, как сахарная белизна, – синевой, голубизной, райской прохладой в смеси с примешанной к этому желтизной солнца. И возникнет целый выводок больших и малых озер – Лаго Маджоре, Лаго ди Гарда. И это купирует мое ужасное, невыносимое физическое состояние, придавая душе силы, пусть и тающие, но отливающиеся во взрывные тексты, в жемчужины слов, подобно этим озерам.

Холод высот, синева вод и неба – возникают завязью слов и поэтических строк, могущих в грядущем вылиться в идеи и стихи, словно бы возникшие из воздуха, но оплодотворившие души музыкой и словами.

Ледник для меня подобен циклопу культуры. Перед воображением встают эти глубоко изборожденные котловины, которые этот ледник пробил своим языком. Не верится, хоть и вижу воочию, ибо кажется почти невозможным, что на этих усмехавшихся мертвым оскалом местах простирается долина, омываемая ручьями, поросшая лесом и травой, манящая голубизной озер.

Разве не то же самое происходит в человеческой Истории: путь во времени прокладывают самые дикие разрушительные силы. Но, оказывается, они нужны, чтобы позднее могли утвердиться более мягкие условия для возникновения жизни. И никуда не деться от этих циклопов, по сути, созидателей, раскинувших перед моим взором эти прекрасные долины, полные душевного покоя, разумного равновесия и гуманности.

Где бы я ни был, куда бы ни подался, меня сопровождает альпийская вершина, с которой, чудится, пристально вглядываются в меня, Фридриха-Вильгельма, из грядущего и не рожден-

ного, глаза тех, кто еще пребывает в небытии, на пороге жизни, но уже находится в гипнотическом плену открытого мной мира.

О, эти провалы в сон, как в бездыханный колодец, из которого уже не выберешься, и пробуждение в ночи кажется выпрастыванием мертвеца из могилы, когда тошнота подкатывает к горлу от запаха сырой земли и плесени пещерных лабиринтов, забивающих ноздри Тезею, изнемогающему в постоянных поисках Ариадны.

В унисон ли, в противовес особому во мгле немолчному успокаивающему звуку отдаленно текущих вод, раздаётся сигналом успокоения одинокий свист пичуги, очевидно тоже страдающей бессонницей, столь знакомой мне, Фридриху Вильгельму. Одинокая трель сама подобна родничку. Родничок пробился у ног неожиданным чудом, впервые возникшим в детстве из глубин земли в отягченную то ли радостью, то ли печалью, душу.

Птица с ярким оперением и юркими движениями прыгает и замирает на ветке, за окном, в голубизне неба, подобном раннему детству.

В такой момент я забываю о том, где нахожусь.

Мне кажется, что отныне все идет так, как я этого хотел. Скоро я смогу насладиться воздаянием за все годы усилий, провалов, неудач, породивших мои великие книги. Я отбрасываю мысль, что Рок может этому помешать, хотя чувствую, что он, как разбойник, поджидает меня за дверью.

А мне явным выздоровлением и отрицанием наитий души, приведших меня к катастрофе, мерещатся соборы, возносящиеся в небо и выражающие стремление человеческой души, несмотря на все сомнения и весь скепсис, преодолеть цинизм, таящийся в темных закоулках души.

За это одно надо относиться с уважением к этим потаенным стремлениям души возвыситься.

Я счастлив, что в жизни мне удалось почти совсем избежать бесчисленных приемов, фальшивых улыбок, неискренних комплиментов до небес, заманчивых, но пустых предложений.

Сколько жилищ я не менял на пути к вечному дому, самым неожиданным и страшным оказалось попадание в этот межумочный, вернее и проще, Дом умалишенных.

Или, все же, только этого опыта мне не хватало?

Именно, при таком восприятии во мне возникает уверенность, что я выберусь из этого вертепа безумия.

И все же, хоть и редко, но повторяется ужасный сон. И первый признак его приближения – замершая в поле зрения церквушка в Рёккене, место упокоения отца. В этом Богом забытом местечке, у Лютцена, я родился, в этой церкви крещен, тут меня и похоронят рядом с отцом и матерью, которая меня переживет, это непереложно.

Из церкви слышен орган. Потрясающие до слез аккорды из оратории "Мессия" Генделя, впервые раскрывшиеся мне, ребенку, бездной музыки, поглотившей меня на всю жизнь.

Внезапно надгробная плита над могилой отца встает дыбом, из отверстой ямы, в саване, выкарабкивается отец, исчезает в церкви, выносит оттуда ребенка на руках, сходит с ним в яму. Медленно плита ложится на место. Тотчас орган умолкает. Я просыпаюсь.

На следующий день у моего младшего восьмимесячного брата Людвига-Йозефа начинаются судороги, он уходит из жизни в считанные часы. Скорбь наша неизмерима. Мой сон сбылся.

С пяти лет я всю жизнь храбро сражаюсь с призраком отца Гамлета, который унес ребенка в могилу.

Вот и сейчас сон этот снова потряс мою душу. Где я? Не в могиле ли? Нет, нет. Я уверен, что по ту сторону жизни памяти нет. Я жив. Воспоминание вспыхивает от какого-то внешнего

повода. Сначала – смутно, в середине – ярко и четко. И внезапно обрывается. Или же каждый раз в каком-то месте теряется нить.

Я силюсь продолжить прерванные пробуждением или отвлечением воспоминания, но не могу вспомнить, где они прервались. А начинать их снова сначала боюсь, зная, что в определенных местах не смогу удержаться от срыва.

Сон это или явь?

Где же я – в остроге?

Тоска охватывает душу.

5

Вчера за окном промелькнула женщина, всколыхнув все фибры моей души.

И когда мой взгляд отметил ее исчезновение, вместе с собой она унесла почти все мои томления.

Это потрясает. Из черной дыры Ничто – возникает молодая абсолютно незнакомая женщина, желанная и недостижимая Нимфа, пересекает в окне светлое пространство дневного существования, и вновь исчезает в черной дыре.

Окна палаты выходят на проходную улицу.

Я хотел описать это подробно. Я верю, что это было одно из редких видений, вносящих искру жизни в больного или заключенного. Ведь и тот и другой – не пережной, из которого прорастает красота и желание, цветущие сорняком на заднем дворе этого проклятого пристанища.

Я увидел слабо мерцающий очерк ее лица вдалеке, но сам лик, который порождает мечтание, – я уловить не сумел. Длинное коричневое одеяние небрежно спадало с ее плеч, и почти полностью скрывало ее ошеломляющие формы. Необходимо было смелое воображение – представить себе ее грудь, линию бедер, форму щиколоток. Никак не смог различить ее глаз, когда она вошла в мой обзор, и все же увиденное возбудило все фибры моего тела и души. В ней открылось все, что я знал о красоте.

Когда она исчезла, я, словно был изгнан из страны желания.

А, быть может, это Лу, обернулась незнакомкой, чтобы сбежать от меня, или, о ужас, сестра моя Элизабет, по кличке Лама, притворяется незнакомкой, и, таким образом, подбирается по мою душу?

Эти две Нимфы на все способны.

Мелькнул вплотную слезящийся кровью и слизью лошадиный глаз. Свист бича, осязаемый спиной. Это храп лошади или хрип в моей груди?

Щель памяти.

Нет, это хрипы, рвущиеся из груди умирающего отца вместе с его бессвязной речью.

Где я? Кто я?

Или лишь во сне я – сам собой?

Просыпаюсь, захлебываясь, как утопающий – от раскрывшейся бездны мыслей. Сны мои многоэтажны. Какие-то цепкие силы погружают меня все глубже и глубже, на самое дно, откуда не выплыть.

Вот и начинает рассветать в доме умалишенных, в этом замшелом углу не пуганных идиотов, висящих вниз головой при свете дня, как летучие мыши, а ночью летающих очумело и натякающихся на живых.

Сны обрываются, как обрывается сердце перед внезапно возникшей под ногами пропастью, при переходе из яркого света в полнейший мрак, при выходе из чревной тьмы в мучительный свет жизни, при внезапном, как удушье, ощущении, что ты в замкнутом каменном мешке, и единственная дверь наружу заперта.

Дверь может быть сшита из дерева, железа, выкована из меди с тончайшей чеканки сюжетами, как та, что ведет во флорентийский баптистерий, в котором крестили Данте. В последние годы жизни, автор "Божественной комедии", изгнанный из родного города, более всего тосковал по нему.

Любая дверь, даже эта, утлая, в убогую палату дома умалишенных, поворачивается со скрежетом. И прошлое, осужденное на пожизненное заключение, свернувшееся ничком в вызывающей устойчивую тошноту постели, оживляется, поднимает голову. Оно, с обострившимся неволей обонянием, чует пусть слабое, но принесенное поворотом двери веяние весенней травяной сырости. И веяние это пробивается сквозь забивающую все щели вонь мочи и лекарств.

6

Луна заглывается акульей пастью облака.

Завершилась еще одна ночь неволи, перекошенная от груза воспоминаний, развернувшаяся головокружительной воронкой, выпроставшей из брюха времени – от заката до восхода – целую полость отошедшей жизни. Как огромный оползень, перекошенный и отягощенный, он от слабого толчка начал рушиться, сбивая с ног и лишая дыхания, обозначая углы памяти, о которые разбиваешься в кровь, обрушивая на себя тексты, от которых хочется сбежать, открывая под ногами глухие провалы.

Что это за такая ночь, отличающаяся от остальных в этой юдоли скорби, разверзшаяся, без дна, ночь непрекращающихся воспоминаний, открытых дверей палат дома умалишенных, смены или отмены времен, начала войны или мира? Ночь возмездия? Или ночь отпущения грехов?

За ее мерцающим порогом особенно ощутимо вставшее в собачью стойку завтра, с нетерпением ожидающее мига, чтобы ворваться в мою жизнь, всё грызя и вынюхивая пустыми заботами, беспричинными тревогами, тяжестью лет и страхом перед гулом набегающего за спиной темного неизъяснимого времени.

И я ощущаю себя Самсоном из Ветхого Завета. Природа его заблаговременно ослепила очевидностями, влила в извилины души веру в еврейского Бога. А ведь пыталась изо всех сил оградить себя от бунтарства духа, жаждущего неограниченной свободы. И ощущая ту властную силу, что таилась в волосах Самсона, я на ощупь в храме жизни искал столбы, на которых держится этот храм, чтобы ощутить воочию его конструкцию и брэнность, нащупать столбы Вселенной пусть даже ценой собственной гибели.

Закрыв глаза, измотанный бессонницей, я пытаюсь увидеть собственное лицо, лица друзей и близких, разбросанных в пространстве и унесенных временем. Желание забыться и надежда на изменение состарили нас.

Их тени движутся за мной. Тяжек в ночи гул их движения, и у всех нас непредъявленный счет на растворяющихся в вечности губах.

Только воспоминания о прошлом держат меня на плаву. Я отчаянно пытаюсь их продолжить, перевести в реальность, испытывая смертельный ужас от ощущения надвигающегося очередного провала в беспмятство.

Это как провал в Преисподнюю.

И ведет меня по ней не Вергилий, а сумасшедший сосед по палате. И сама Преисподняя не отделена четко от реальной жизни, а сливается с ней, всё более захватывая ее.

Особенно отрадны воспоминания детства, пока я не натыкаюсь на любовные игры с моей сестричкой Элизабет, и мгновенно погружаюсь в тьму со всеми сопутствующими ей симптомами, – головной болью до рвоты.

Открыв глаза, я пытаюсь нащупать рядом стакан, приснившийся во сне.

О, этот мир между сном и явью. Явь слишком страшна. Сон слишком нереален. Они не накладываются друг на друга. Противоположны. У входа в явь стоит отвергнутый мной Бог. У входа в сон – стоят два Ангела – Карающий и Самаэль, Ангел смерти.

7

На днях дятел начал стучать в стекло окна. Спутал дерево со стеклом. Как хотелось поверить иллюзии, что это существо порождено моим желанием вырваться на свободу.

Я же, придававший такое значение питанию, вольным и долгим прогулкам, перебиваюсь на подножном корму, скованный в этой юдоли скорби.

Я, Фридрих Вильгельм, подобен игроку, который, дойдя до вершины "успеха", мгновенно проиграл всё – не только состояние финансовое, которое всегда было не ахти каким, а состояние души – Дьяволу, стерегущему меня по ту сторону ума с терпением вечности в грязном, пыльном, темном углу палаты Дома умалишенных.

Карта оказалась битой. И никто из Нимф меня не остерегал, а, наоборот, подзуживал с целью – снять куш в игре.

Я бьюсь, как в силках, чтобы прорвать пелену безумия. Но чем глубже и страшнее мое погружение в животное состояние, тем острее и невыносимей выходы из него.

Что я за странное животное, позорно начитанное, мучительно вторичное, страдающее от многолюдья, ревушее от их обложного носорожьего напора.

В минуты прочного, как бы отцеженного сладостного одиночества, осознаваемого, как истинное состояние души, я, Фридрих-Вильгельм, вижу себя человеком с картинки, обнаруженной в книге в раннем детстве. Человек дополз до края небесной сферы, пробил ее головой, и потрясенно озирает занебесье с его колесами, кругами планет, – всю эту материю, подобную ряду, где ряды напоминают вздыбившуюся шерсть на ткацком станке Вселенной. Но потрясает меня наша земная сторона со средневековым спокойствием звезд, закатывающимся детским солнцем над уютно свернувшимся в складках холмов и зелени полей городком.

И я, Фридрих-Вильгельм, неутомимый странник, отчаянный отшельник, пытавшийся все время убежать от собственной тени, – всю жизнь шел, полз, чтобы, наконец, добраться до этой сферы, а жители городка обитают рядом и не знают, да их и не интересует, что тут, буквально за стеной их дома, – огромный мир Вселенной. Их не то, что не тянет, их пугает заглянуть за предел, прорвать сферу, прервать филистерский сон золотого прозябания. Вот они, два полюса отцовского восклицания «*Se la vie*» – «Такова жизнь» – так удивительно сошедшиеся на окорлице затерянного в земных складках городка.

Когда в рукописи появляется просвет от суеты мелких записей – это означает, что речь идет о погружении в иные пласты души, о том, что напрашивается, зреет исповедь, откровение, искупление собственной жизни. Снова идут записи настроений, меланхолий, глубинного пути души – в скуке, тоске зарождения и вызревания. Я же, соглядатай своего времени, заложник вечности, смотрю, как в щель, в замочную скважину, а ключ у апостола Петра. Но именно этот зазор, обзор, прозор – дают свободу воображению, оставляют чувство незабываемости того, что узрел.

Не думать, как писать, а писать, как думать. Думанье своевольно, капризно, неожиданно, как сон, фантазия. Этот спонтанный поток сознания не может выйти из моды, как не может исчезнуть из нашей повседневности сон, страх за себя и любимых, боязнь смерти. Всё это стоит на страже за каждым углом.

Сумеречное сознание может родить великие тексты и открытия.

Помрачение сознания тянет к смерти.

Живу в тесном мире снов, подступающих гибелью вплотную, со всех сторон. Можно ли при этом не удивляться мужеству человеческого существа?

Вчера во сне возникло какое-то уютное кафе в Турине. Оно почему-то было залито ослепительно желтым светом, напоминающим освещение больничных или операционных палат. Притаившееся во тьме безумие жадно взирало на этот свет своей бездомностью и нищетой. Именно этот лихорадочный взор вносил в атмосферу почти домашнего уюта кафе ощущение конца света, надвигающегося ослепительными взрывами звезд в ночной мгле. Я бежал из кафе, спасаясь от несущегося за мной безумия.

Часто снится пустыня – столь осязаемо, в деталях, как я себе ее представлял в воображении. Она зовет меня из сжимающей скученности, и это остро ощущается, как тяга к собственной неразгаданной сущности.

Львиный ров – львиный рёв.

И я, Фридрих Вильгельм, реву, не слыша самого себя, но чувствую себя брошенным на погибель в львиный ров пророка Даниила.

В последнее время чаще и невыносимей наступает минута удушья, и мгновенно возникает мысль: переживу этот миг, и жить мне долго.

Да, я строптив. А весь окружающий меня мир – не столько укрощение, сколько упрощение строптивых.

Когда лежишь, обессилив, в этой теснине, пропахшей смрадным дыханием соседа и запахом мочи, понимаешь, что с тобой вместе, всё вокруг начинает разрушаться само собой.

Сколько бы ни выдумывали и не искали наитие в душе, позволяющее смириться со смертью, приладить к ней сознание, выкинуть ее из памяти, представить ее сладостным сном забвения, потрясает она единственным – оголенной своей бессмысленностью.

Предшественник

8

Когда некий миг из прошлого превращают в икону, это пахивает новым идолопоклонством. Единственная правда во всей этой фанаберии – Распятый за наши грехи: еврейская идея – пострадать за других, озвученная пророком Исайей.

И хотя сам я высмеиваю идею греха – первородного или обретенного, но требует же объяснения, почему я распят на своих болезнях, на предательстве собственного тела, а теперь и разума.

Он, страдалец, мог, не моргнув, провозгласить себя сыном Бога, или молча, но с пониманием, принимать, когда окружающие назвали его сыном Бога. А ведь он – человек.

Почему же я, в бездне своих страданий, не могу это сделать?

Если нет, то где же абсолютная справедливость?

Да, о каждом человеке говорят – сын Божий. Но лишь один Он сумел вбить в разум мира людей, что это не просто оборот речи, а истина?

Да, силой своего гения я сумел несколько расшатать неколебимость этой истины.

Но какой ценой?!

Я теперь подобен дотлевающему окурку в луже собственной слизи.

Я – полуслепой, почти глухой, слышащий голоса, каждый миг на грани жизни и смерти. Может ли нормальному человеку, а не отлученному демону принадлежать этот невыносимо пронзительный, сверлящий уши и души, голос? Да только Косой с косою!

Почему я, обладающий таким умом, столь физически немощен?

Не отстает от меня мысль, что Кто-то выпустил меня на этот свет подопытной мышью.

Можно ли жить в этом частоколе вопросов, которые страшнее стен этой тюрьмы, внутренних и внешних, не отстающих и внезапно наступающих припадков безумия?

Может, грех мой в том, что, восхваляя сильных зверей в человеческом облике, обладающих скорее физической, чем душевной, силой, а, значит, и правом проливать кровь слабых, сам принадлежу к больным и слабым от рождения.

Предавая этих немощных, предаю себя?

В окружении всеобщей фальши я призываю к честности в признании, что жизнь – это воля к власти. Но честен ли я с самим собой? Мгновениями мне кажется, что я еще более фальшив, что именно этот разлад во мне, этот расширяющийся разрыв в моей душе несет меня, как щепку или окуроч, в безумие, в безмолвие, в долгое молчание. И все это равносильно существованию живого трупа.

Слишком уж много я наговорил. Неужели недержание речи – мое проклятие?

Ведь не зря я столько раз пытался сбежать в музыку.

Даже в минуты приближающегося безумия единственное мое спасение – бежать к роялю, как тогда, бег к роялю в публичном доме в Кёльне стал, быть может, началом моих болезней, а затем и безумия. Так считают некоторые эскулапы и мои добросердечные враги.

О, у меня хороший, хоть и весьма избирательный, слух. Да они и не стесняются обсуждать и осуждать меня при мне. Я же помешанный. У меня, по их мнению, прочный набор ощущений и звериных порывов, изобличающих во мне умалишенного. Да и все мои книги, и разговоры убедили их, обладателей редкими неразвитыми извилинами, что я вообще давно существую вне человеческого рода, этакий редкий врачебный экспонат.

В минуты просветления читаю-перечитываю собственные книги. О, боги, всё о себе и о себе. А на стопки книг у моей постели эскулапы смотрят как на еще одно доказательство моего помешательства.

Неужели долгое прозябание моего гения в безвестности сделало и меня мстительным, открыло во мне, считающем себя принадлежащим к высшей касте, ужасную правду, что, по сути, я принадлежу к низшей завистливой касте интеллектуальных рабов?

Неужели я подобен Шопенгауэру, из зависти к славе Гегеля, и все же справедливо, называвшего его шарлатаном?

Пора привыкать к самому себе поставленному мной диагнозу: придется мне еще долго жить тупым и мычащим животным. Приготовиться к этому невозможно.

Единственный выход – прекратить мычание, уйти в молчание.

Онеметь, окаменеть!

Мне в наказание – многолетний вынужденный обет молчания!

И вот здесь подсуется моя сестрица, выиграет в беспроегрышную лотерею, – сделает из моего молчания весьма прибыльное дело.

Поделом мне! И растянется на годы финита ля комедия!

Но самая большая беда в том, что все, мной написанное, каждая мысль, – с утверждающей агрессивностью моего характера, в физических муках и, главное, в сомнениях и колебаниях после каждой пришедшей мне мысли, преследующей меня, как гончая, будет извращено. Стараниями моей сестрицы, ничего не смыслящей в философии, но зато весьма расторопной во лжи во имя прибылей, мое имя станет знаменем пруссаков-юнкеров, поклонников Вагнера, антисемитов всех мастей, которых в Германии пруд пруди, и будет восприниматься, как истина в последней инстанции.

От этой мысли хочется тут же закрыть глаза навсегда.

Так преступно неосторожно выпустить джина из бутылки.

Прогулка

9

За окном вторая половина января. На календаре, в коридоре, залапанном нечистыми пальцами обитателей Дома, – двадцать второе число, год тысяча восемьсот девяностый. Мороз и солнце.

Петер Гаст, композитор и музыкант, близкий мне человек, переписывающий для меня отличным своим почерком мои книги, посетил меня вчера здесь, в психиатрической клинике, в моей палате на втором этаже. Что-то в нем есть внушительное, так что охранник сразу же его пропустил ко мне. Мой друг Петер, всегда заботящийся обо мне, принес олады, но я даже не прикоснулся к ним, чтобы пальцы мои не покрылись жиром, а я ведь хотел исполнить для него импровизацию на рояле. Мы спустились в небольшой зал, где стоит инструмент. По-моему, он был потрясен моей игрой. Мне же смешным и грустным было его потрясение тем, что в моей импровизации не было ни одной фальшивой ноты. Смутившись, он стал расхваливать утонченность моих вариаций, сменяемых гневными фанфарами в стиле Бетховена, переходящими, как он выразился, в медленные размышления, полные нежности, мечтательности и сумеречной вечерней печали. Петер очень жалел, что не захватил с собой фонограф.

Во время прогулки с ним вне этих опостылевших мне стен, Петер сказал, что он видит значительное улучшение в моем состоянии, и даже намекнул на возможность того, что я при-творяюсь сумасшедшим в духе суждения Бодлера, говорящего, что единственный путь сохранять нормальность – сбежать от буржуазной культуры в сумасшедший дом. Гаст первым напомнил о Байроне и его сестре Августе, которых отвергло общество.

И тогда я сорвал завесу с моих размышлений и представил его потрясенному взгляду отверженного, опального Ницше. Только с этого момента дорогой Гаст стал думать, что я действительно сумасшедший, и я помог ему в этом убедиться, похлопав по бокам незнакомца, глядящего на нас.

Не раз я выражал мнение, что истина – это знаменитая Саломея – никогда не сбрасывающая седьмую шаль. Нагая, без стыда, в безумии убийственной жажды крови, она требует, чтобы ей преподнесли на подносе голову Иоанна Крестителя, и получает его. Желательно, чтобы миру не стало известно – во всяком случае, пока сестра Элизабет жива, – что она играла в драме моей бурной жизни ту же роль, что Августа в жизни Байрона.

Как Августа, Элизабет была щитом, тормозящим мои срывы против диктата матери, чьи язвительные стрелы и камни разбивались о сарказм дочери до тех пор, пока Элизабет сама взяла на себя роль диктатора, по-матерински заботящегося обо мне, когда открыла, что я обнаруживаю интерес к прекрасному полу. Чтобы усилить власть надо мной, толкнула меня в грех древних египтян, кровосмешение, и тем самым дала мне возможность отсечь себя от лютеранской морали, ибо грехи мои поставили меня на уровень с самим Сатаной.

Байрон тоже ощущал себя на уровне Сатаны, и кальвинистская его совесть разбилась о скалу его уверенности, что грех его более велик, чем грехи самых великих грешников – Каина и Манфреда, и он дошел до вершины преступного греха. Благодаря своей сестре Августе Байрону было дано место сидеть у почтенного трона Его величества Сатаны, которого Шопенгауэр скрывал в безопасных небесах.

Элизабет же еще более раздула мою гордость: я не мог выдержать компромисс со стороны Сатаны, поставить его властителем надо мной, потому стоял на голове, обернувшись Сверхчеловеком – повелителем Вселенной. Я уже писал: "Если бы были боги, как я мог выдержать то, что я не бог! Потому, нет Бога".

Вне сомнения, Петер Гаст – личность без подвохов, биография его ясна, и ни на йоту не похожа на биографию Рихарда Вагнера, всей тяжестью наложившего себя на мою неокрепшую не устойчивую нервную систему.

Но что касается преследующих меня бесов – так в этот миг какой-то чужак, явно опасный чужак, мелькнул передо мной на опушке леса, впился в меня долгим взглядом, одарив улыбкой мелкого беса. Что же сказать о похотливых, таинственных, бесцельно шатающихся привидениях, они прилепляются к каждому, преследуют на любом повороте, и внезапно исчезают за складкой души, проглатываемые неизвестностью мира.

Я выхожу на прогулку из этой юдоли скорби, ставшей моим прибежищем, на несколько минут прижимаясь к внешней ее стене. И меня гложет единственное желание: раствориться, исчезнуть, подобно глухонемой лошине, замершей в столбняке перед моими глазами, лишенной эха, глотающей звуки. Единственно мне понятно в эти мгновения безумное бормотание ручья, протиснувшегося под оградой, сбежавшего из сумасшедшего дома. В первый миг человеческая речь звучит варварски для моей бесприютной души. Она опасней бритвы уголовника. Она может быть окриком охранника дома умалишенных, голосом рабства. Ручей, хоть и безумен, но пытается своей болтовней, не вмешиваясь в мой столбняк, отвлеченно меня успокоить. Только на природе, относящейся ко мне с таким назойливым пониманием, я могу быть самим собой.

Я говорю что-то весьма разумное, видя истинное удивление на лице идущего рядом Петера Гаста, которого, вероятно, убедили, что я сумасшедший.

Я говорю о том, что каждое нестандартное мышление подобно вихрю, продувающему тысячелетия. Оно заново нащупывает скалы, вершины гор, глубь морей, и выдувает балласт обветшавших идей, песок отработанных мыслей.

В мире философов циркулируют ветры Платона, Шопенгауэра, и философы ощущают эти ветры, вылепляющие их лица в замершей среде, в недвижимом воздухе.

Малейшее движение ветра, идущее от мощи моих идей, пробудит новую жажду познания в душах, подернутых пленкой скуки.

Когда в обычном течении дней появляется просвет, изгоняющий суету – это означает, что речь идет о погружении в иные пласты души. И там напрашивается, зреет исповедь, открытие, искупление собственной жизни.

Все это я говорю, не отрывая взгляда от какого-то неказистого домика, уткнувшегося в январский снег, который манит укрыться в нем, посылая некий желанный сигнал растворения в мире покоя и забвения. Это сомнамбулизм особого рода: не упиваться чувствами, даже горечью, а упиваться их отсутствием, сумеречным сознанием, не желающим знать, что есть свет, бодрость, желания. Я повторяю про себя строку Тютчева, которую перевела мне моя Лу – "И так легко не быть..." – самые точные и последние слова о смерти, так подходящие потерянной моей жизни.

10

Мы идем среди деревьев парка, более похожего своими зарослями на лес, вероятно из-за снега, этот зимний, лохматый, насупленный лес, играющий под сурдинку моей души элегию, реквием отошедшим годам. Всё вокруг – под стать моему настроению – пустынная, хрустящая снегом под подошвами, дорога, вовсе не ведущая к каким-то волнующим тайнам, как это было в молодости.

Солнце, дремлющее среди зарослей, с трухой и соломой в бровях, наводит на неотступную мечту о берлоге, куда можно было бы скрыться, хотя бы до следующей весны.

Я говорю, иногда чуть захлебываясь, но все же удивительно для самого себя – четко и ясно. Я говорю о том, что мою невинность, определенную ограниченными эскулапами, не

мыслящими выше тупых лекарей, как безумие, я ощущаю, как срам. Я не готов к тому, что моя, все еще юношеская, невинность, может обернуться страхом, срамом, нежеланием жить, заброшенностью и оцепенением. И вот эта самая невинность, которая стала моей первой мерой настоящей жизни, – внезапно обернулась острейшим ощущением вины, до того, что меня извело желание – сделать что-нибудь такое, чтобы вина была оправданной.

Но кто-то словно бы лишил меня, болтуна первой категории, речи. Спасало вдруг открывшееся понимание: оказавшись в таком переплете, я особенно ясно понял, что окружающему пространству, говорящему через нас языком деревьев, безмолвного снега, капли, тоже приказано молчать. Оно не может развернуться с подобающим свободным стихиям размахом, с каким разворачивалось, к примеру, в стихах любимого моего Гёльдерлина, без того, чтобы его не лишили свободы, объявили безумцем, и, по сути, лишили жизни. Потому она и выглядит в литературе, музыке, такой прилизанной, парадной, такой стреноженной.

Ощувив боль несправедливости, я вдруг понял многие прежде для меня загадочные души, но общаться с ними не было возможности, ведь многие из них уже были по ту сторону жизни. Можно было лишь догадываться и молчать. Я не имею в виду мою мать, свихнувшуюся на лютеранском ханжестве, и впавшую в безумие безбрачия и страха перед соитием, и сестренку – существо ограниченное и агрессивное.

Не зря они упрятали меня в этот дом. Я на корню запродан до того, что даже про себя самого не позволяю себе думать и писать, как про глупца и неудачника, возомнившего себя гением и просадившего свою жизнь. Опять окружающие скажут: видите, мы правы, он сошел с ума. И я, оказавшийся жертвой явной несправедливости, должен изо всех сил уверять себя, что все правильно. Кому писать, кого убеждать? Потому и подписываю письма именем – "Распятый".

Дорога раскисает, снег жухнет, мир погружается в воду, тонет. Вихры его встают дыбом, но нет жалости к уходящему на дно году. Время, не идущее вспять, подобно утопающему, которого уже невозможно спасти, хотя он еще держится наплаву. Тоска безвременья с тягостной медлительностью дождей, туманов, серых ползучих дней, закладывает уши, нос, горло. Благо, припадки стали реже.

Удивительно и страшно желание уподобиться небу, запасть в щель, пропасть, сбежать от силков и сетей человеческих, ловушек и капканов, затесаться в компанию трав, степных шепотков, выйти из рода человеческого. И я пугаюсь, очнувшись от ужаса этой тяги, влекущей из мира живого в неживой.

Уже поговаривают обо мне: да кто же он, этот богоборец, овладевший умами Европы и сам сошедший с ума?

Мнится мне в лучшие дни, что кажущаяся бессознательность спящего несет в себе цельность существования, берущего в счет эту и ту сторону жизни, и тем самым расширяющегося до самых своих корней, до самого тайного ядра – жизни.

И это сродни иным проявлениям этого ядра, таинства самостоятельной пульсации чуда, называемого сердцем, с момента, когда комок плоти издает первый крик, означающий вдох и выдох.

И это сродни лунному мерцанию, накату волн, скрытому гулу речных вод, неслышному росту трав под столь же неслышным, но ощутимым ветерком.

И это не *сны о жизни*, а сама ее суть, говорящая, что жизнь, кажущаяся сном, и есть жизнь. Не тут ли таится чудо закрытых глаз статуи, или даже открытых, но не видящих, погруженных в сон, во внутреннее видение?

Не потому ли статуи эти особенно прекрасны?

Спокойно спящий человек словно бы пребывает в облаке беззащитного, и потому истинного счастья.

Может, это и есть корень и суть сна – обнаруживать тайную связь между душой и природой, и помнить все время, что в тебе душа – тоскующая, жаждущая быть душой в этой как бы равнодушной природе.

11

Вечность, принимаемая как равнодушие – находка человека, неустанного жалобщика на судьбу.

Но грянуло иное время его жизни, докатился он до провала в бездну, сулящую смерть, и не за что ухватиться на этом краю, лишь лежать не шелохнувшись.

Звериному моему жизнелюбию страшно ощутить во сне неограниченную свободу души, бьющуюся о каменные стены палаты.

Сны в этом доме умалишенных – клапан непомерной энергии жизни, пытающийся поддерживать душевное равновесие.

Иногда во сне вижу себя, как бы со стороны – невысокого круглого человечка с маленькими женскими руками. Ладони мои и ноги малы, как у женщины. Может быть, мне было предназначено родиться женщиной? Может быть, я выкидыш, брак Творца, меня сотворившего?

Никогда я не освящал свое одиночество. Я жаждал плотской любви женщины, которая сможет освободить меня от вселенских проблем, свидетельствующих о смерти Бога.

Лицо мое трудно поддается описанию, настолько оно заурядно. Это первое, что бросилось в глаза Августа Стриндберга на моем фото в газете. Лишь усы выделяют мою крестьянскую физиономию, подобную мужицкой физиономии Канта, если снять с него парик. Никогда на свободе, во сне, я не видел себя бредущим среди героев сновидения. Там хаос изображений и лиц разворачивался перед моими глазами лентой. Видеть себя подобием бледной личинки, еще не превратившейся в куколку, чтобы из нее вылупиться, было сверх сил, но еще больше не было сил пробить скорлупу сна, которая во сне оборачивалась застенком.

Во сне меня посещает этот швед, религиозный философ по имени Сведенборг. Он вещает: слова во сне превращаются в образы, точнее, в прообразы и праобразы. Ад и Рай, по Сведенборгу, не запрещен никому. Двери открыты. Мертвецы не догадываются о своей смерти. Грешники лишены лица. У них вместо лица что-то зловещее, изуверское. Однако себя они считают красивыми. Каждую секунду человек готовит себе вечную гибель или вечное спасение.

Всё это, скользлившее мимо моего сознания на свободе, к ужасу моему, здесь, даже после пробуждения, выступает истинной сущностью всей моей жизни.

Иногда сон возникает черной дырой ввысь, и в этой мгле внезапно нащупывается ногой лестница, со времен Иакова терпеливо ждущая того, кто споткнется об неё и услышит голоса праотцев, зовущих подняться по ней, ибо ужас сотрясает их при виде мира, подобного колодцу, клокочущему драконами.

Сплошная жуть во сне распластывает тело, и я с трудом выпутываюсь из теней сна, ловя ртом воздух.

В начале моего пребывания в этом логове свихнувшихся я едва прикасался к еде, не желал выходить на прогулку, не убирал за собой, не принимал душ, не брился. Парикмахер отказался меня стричь и брить, ибо боялся, что пребывающий словно бы в каталептическом состоянии пациент внезапно выхватит бритву и перережет себе горло.

Я подолгу лежал, уставившись в потолок. Боже мой, какую тоску я испытывал в юности по ночам, глядя на звезды. Потом вообще не успевал смотреть на небо. Потолки моих временных пристанищ были благодатны, ибо уставившись в них, я иногда был осчастливлен удивительными мыслями. Теперь же я вижу лишь серый, мертвый потолок, вызывающий тошноту своей асимметричностью. Даже окно устроено в палате так, что звезд почти не видно. Лишь жадный взгляд иногда различает блёклую полосу света, несомненно, – лунного.

В этом безжизненном затоне время бежит не по привычному кругу циферблата, а по прямоугольнику догоняющих друг друга и не сдвигающихся с места четырех стен. В этом прямоугольном времени память открывает самые сокровенные шевеления души.

Провожу рукой по волосам. Они стоят, как наэлектризованные, что называется – дыбом.

12

Снится: меня волокут на операционный стол.

Я кричу, как загнанный заяц, ослепленный сиянием операционных ламп: как же? Я совершенно здоров. Во мне еще столько нерастраченных сил. Об одном лишь прошу – дайте мне их истратить.

Проснулся. Показалось, Лу склонилась надо мной: тебе что-то плохое приснилось? В темноте ясно, спасительно проступает ее такое родное лицо.

В этой юдоли скорби легко слиться с любым существом – будь то Наполеон, Шопенгауэр, или даже – отвергнутый мной Бог.

Из потайных извилин памяти четко возникает нечто, начисто забытое, пугая тем, что оно было затаено во мне, как заряд динамита, который в любой миг может превратить меня в прах, а я этого не знал: ведут меня долгим, нескончаемым тоннелем. Кажется, я жив, но такую пытку медленного движения к свету в конце тоннеля невозможно выдержать. Я теряю сознание и, приходя в себя, ударяюсь о стены, неровные, с неожиданными выступами. Я весь в ссадинах, спотыкаюсь, падаю, но неумолимые руки или клешни ведущих меня не дают ни на миг остановиться. Слабый зеленоватый свет, подобный лунному свечению в пустыне ночи, выявляет восковую податливость и скрытую мертвизну свежих молодых покачивающихся лиц моих конвоиров в белых халатах, хотя выправка у них военная. И они подобны муляжам в музее восковых фигур. Пугает ощущение нереальности.

Не так ли ведут дорогами мертвого мира, и движение это становится новой формой моего существования в потустороннем мире? Я пытаюсь нарушить окаменелость ведущих меня фигур, протягиваю руку в сторону и натываюсь на восковую ладонь, обнаруживающую внутри тупую, как обух, твердость.

Я уже во сне понимаю, что всё это мне снится, но не могу выпутаться из липкой паутины сна.

Внезапна мысль, что, подобно пытке дыбой, распятием, электрошоком, водой и огнем, есть пытка движением.

Я просыпаюсь, попадая в новый сон, пропадая в нём, ожидая, как спасения, звука открывающейся двери, но она недвижна, как нарисованная Микеланджело дверь в гробнице Медичи во Флоренции, за которой я, Фридрих-Вильгельм, был заживо погребён.

При свете дня ночной бесконечный коридор оказывается совсем коротким. Такая глупость: он, что, при свете сокращается? Или это предчувствие приближающегося приступа?

Приходит мысль – "Воображение обладает своим центром тяжести. Когда же сдвигается центр тяжести души, человек теряет умение и чувство – отличать добро от зла. А ведь человек – мера времени, и на уровне существования его не сдвинешь, чтобы не сотрясти окружающую реальность, в глубине которой иное соотношение прошлого, настоящего и будущего. Сама материя времени смущаема и смещаемая не в физическом понимании сжатия и расширения, зависящего от скорости, а в экзистенциальном ощущении медленно тянущегося времени страха и депрессии в палате умалишенных.

Но лучше ли проживание на воле, в быстро несущемся времени, в эйфории, чаще всего не оправданной?

Все беды в мире людей происходят от нарциссизма, от скрытого любования самим собой, от отсутствия чувства реальности, от длительной безнаказанности, которая рождает уверенность во вседозволенности».

Мои книги раскроют глаза человечеству, – это говорю я, Фридрих-Вильгельм. – Потрясению не будет предела.

Но о чем это говорит и почему это потрясает?

И что это даст мне, автору, кроме потрясения человеческой глупостью, и странной печали от чувства сладкой мести по ту сторону жизни?

Неужели слава человеческая – пустой звук, но желание ее – ненасытно?

Только Бог мог надиктовать Моисею Книгу, заранее зная неисповедимость путей ее возникновения до Сотворения мира, как предварительного его плана, без которого мир этот никогда не выберется из первобытного хаоса.

Только Он предвидел непрекращающийся спор о вечности и неистребимости Книги.

Во сне меня посетил Петер, и я говорил ему: пусть тебя не смущает, что иногда, сам того не замечая, я говорю о себе в "третьем лице". Рассказывая и думая о себе, я словно вижу себя и всю свою жизнь, да и все свои труды, со стороны – в явно грязном, с ржавыми подтеками, словно облеванном зеркале в незнакомом вначале, но явно угрожающем месте, – моей палате?

Кто же я – истинный? – *ich bin, du bist, er ist...*

Потрясает эта явно безумная легкость перескакивания с "я" на "ты" и "он" в обращении к самому себе.

Но пусть у тебя, дорогой Петер, не вызывает удивление то, что я буду относиться к себе то в первом, то во втором, то в третьем лице, как Он. Подобно Ему, говоря напрямую, одновременно вижу себя со стороны. Этот двойной или тройной фокус, в котором я узнавал и не узнавал себя, всегда не давал мне покоя. Это было Его сущностью. Ему не мешало, к примеру, явиться Мухаммеду в первом лице. Меня же это свело с ума.

Знаешь, особенно мне тяжело с наступлением весны. За окном наплывает солнечным таянием месяц март. Может ли быть что-либо страшнее для человеческого существа, чем этот одуряющий запах жизни, просачивающийся сквозь законопаченные окна дома умалишенных без всякой надежды – выбраться, которая дана даже узнику.

А тут еще Мама является, когда после обеда, по обыкновению, я сажусь за рояль.

Продолжаю играть, как бы ее не видя и зная, что в музыке она весьма несведуща.

Она помалкивает, и я смягчаюсь, принимая ее молчание за деликатность по отношению ко мне. Только к вечеру, когда мне, честно признаться, слегка надоело ее присутствие, она спрашивает, что я играл. Отвечаю: "Опус 31 в трех частях Людвиг ван Бетховена". И эта старая дура в письме к Францу Овербеку, священнику и любимому моему другу, потрясенно сообщает о моей столь осмысленной игре, что ей кажется, – я все же мыслю. Вряд ли она знает, что повторяет начало слов Декарта: я мыслю, значит, существую.

Кажется, она весьма рискует, собираясь забрать меня домой, в Наумбург, под расписку, ибо, хотя колеблется, но все же рассчитывает на скорое мое выздоровление. Хорошо еще, что в доме она одна. Сестрица собирается вернуться из Парагвая лишь осенью.

13

Я ненавижу себя, прежнего, размышляющего в домашнем халате, как Гегель в ночном колпаке. Если Сократ выпил яд за свои убеждения, то я все время зациклен на своем здоровье, но мне это не помогает.

Чтобы преодолеть смертельную дозу глубокомыслия, я бросаюсь в пляс, называя его "веселой наукой". Но этот перепад оборачивается не спасением, а приступом на грани безу-

мия, предвещающим полный уход с редкими просветлениями – в безумие, на радость ограниченными эскулапам.

Меня, как пуповину, обвивающую удушающими путами, изводит сложнейший психологический клубок круговоротов душ в моей книге "Человеческое, слишком человеческое". Но мне уже не дано переписать эту книгу заново.

Вне зависимости от того, останутся мои книги или не останутся, присутствие мое в этом мире обречено быть обозначенным сотворением текста. Пишешь – существуешь. Я знаю, что все это будет выброшено, замызгано, растоптано животными, по ошибке называемыми людьми. Но мне это назначено, и долг неукоснительно несет меня к гибели.

14

Настоящее не подлинно, ибо мгновенно переводит будущее в прошлое.

Авторитет текста строится ступенчато во времени, опираясь на другие тексты, которые уже обрели авторитет.

Опасность в том, что часто авторитет заменяет и подменяет истину.

Разве художественное произведение не является полем, где сталкиваются три противоборствующие силы: намерение автора, понимание читателя и сама структура текста.

Противоречивость человеческого сознания – главное действующее лицо мировой истории и культуры.

Внезапно меня, Фридриха-Вильгельма, объял ужас от мысли, что я принес в этот мир. Никто серьезно не задумывался над тем, какую страшную роль в жизни человеческих масс, в разращении человеческой души, в умении выдать ничем не доказанные постулаты, заведомую ложь, как бы во спасение, а, по сути, на гибель, зашательство, уничтожение, сыграла философия – чисто теоретическая и часто весьма приблизительная наука.

Она, в будущем, окажется хлебом насущным всех диктаторов, палачей, маньяков. Ее непререкаемость обернется в реальности пулей в затылок, сжиганием на костре, петлей на шее.

Сотни миллионов ни в чем не повинных людей поплатятся жизнью во имя, казалось бы, логически выверенных концепций, на деле оказавшихся прямым путем к варварству, по сравнению с которым то, что называлось в истории варварством, будет выглядеть детской игрой.

Когда философия изрекается устами палачей, даже если у них всего одна мозговая извилина, любое человеческое существо вытягивается по стойке смирно.

Человечество, считающее себя семьей разумных существ, рухнет в массовое безумие будущих войн, от которых, даже очнувшись, не сможет прийти в себя.

Невероятен феномен, но самые отпетые палачи и диктаторы будут изъясняться с жертвами по-философски, доказывая им, что, согласно национал-социализму или интернационал социализму, их необходимо расстрелять во имя светлого будущего.

Всё это, кажущееся наивным умам уже пройденным и осужденным этапом, висит, затаившись, над нашим будущим.

Ужасные бездны открыты, ждут своего часа, и невозможно их извести под корень.

Понимаешь, Петер, параллельные линии отменены, кривизна торжествует, не требуя доказательств. Только ты один понимаешь меня, ибо бескорыстен.

Все это я изрекал, прогуливаясь с Петером Гастом в саду дома умалишенных.

Я был в ударе, говорил о том, что философское сочленение жизни существует вне границ и держит непрерывность мыслительного существования, ощущаемое как удивительное равновесие между уверенностью и сомнением в движении к цельности, будь оно названо единым духовным полем или чем-то иным, вовсе недостижимым, но ведущим к опаляющим высотам духа.

В конце концов, последнее слово не за Кантом, Ницше, Шопенгауэром, и пока философ жив – надежда последнего слова за ним.

Лишь теперь, мучительно, пусть поздно, отрицая все ими навязанное, быть может, более себе, чем миру, я ощущаю, что надо лишь суметь устоять в точке сплава всех шести степеней свободы воли – земли, неба и четырех сторон света – и затем выразить все оттенки этого стояния в духовном эпицентре; суметь ясно показать, как вечное проглядывает сквозь душу – эту прореху в брэнной плоти.

Звук, запах, вкус, тревога, страх, воодушевление говорят о правде этого стояния в своем времени, в своей точке пространства.

И тогда это мгновение становится частью той вечности, в которой, быть может, даже не подозревая об этом, остались все сидящие за длинным – в тысячелетия – столом мудрости – и пророки вовсе не отмечают философов, ибо все вместе единым усилием сохраняют духовное богатство человеческой мудрости.

И смерть, как бы она не лезла вон из кожи, не может пробить круг этих великих умов.

Они ей неподвластны.

15

Все чаще в последнее время поражает душу некая неутомимая убедительность, явно вызванная страхом приближения смерти. Устанавливается ощущение, какого раньше не было, что эссенция жизни, отмеченная Шопенгауэром, возникает слоем света и умиротворения в моменты засыпания и пробуждения, как масло всплывает на поверхность вод, глубины которых затаены в закручиваемых водоворотами корнях сновидений, и эссенция их протягивается через все годы моей жизни.

Удивительно, как во сне желание славы мирской не проходит, но и не накрывает с головой, словно бы сон с более естественной, чем в реальности, снисходительностью относится к этой жажде славы, зная ей истинную цену.

Но бывает, наплывает полоса снов неким иным, пленяющим легкостью дыхания и раскованности, миром. Быть может, в этой длящейся неподвижности, в этой особой материи, вырабатываемой существованием в каменном мешке, иной мир открывается особым светом и приятием, который не просто кажется действительным, а намного реальней окружающей действительности. Надо лишь освободить его от пелён нашей слепоты и неколебимой уверенности в том, что мы знаем истину.

Иногда, медленно, как бы шадя, наплывают островки блаженной памяти. Мама, которую я про себя еще называл ее именем – Франциска, неторопливо вышивает гладью. Нескончаемой нитью тянется время. По краю бахчи, где, подобно бикфордовым шнурам, змеятся плети пуповин, тянущиеся к "бомбам", арбузов, бежит жеребенок. А в детской среди рисунков и каракулей, то ли случайно, то ли намеренно, обнаруживается план уничтожения мира.

Кто я – Фридрих-Вильгельм, или Фриц, или Фрици? Порой эти германские имена меня изводят, и тайно я зову себя – Фредерик: мне намного приятней ощущать себя потомком польских аристократов Ницки, даже если это окончательно не доказано.

Кредо

16

Как я далек от принятого мной с написанием первых книг – кредо.

Надо жить, сохраняя чудовищное и гордое, даже высокомерное, спокойствие – *всегда по ту сторону*.

В каждой проходящей мысли отчетливо различать все "про" и "контра".

Вспыхивать до состояния аффекта, неземного парения.

Спускаться с высот, как прыгают на коня, без седла или с седлом, даже после моего неудачного прыжка в двадцатитрехлетнем возрасте во время службы в конном подразделении полка полевой артиллерии, когда я повредил грудную кость и свалился с воспалением грудных мышц.

Получать непередаваемое удовольствие от скрытности, как писал все тот же любимый русский поэт Лу – Тютчев: "Молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои..."

Ограничиться тремя сотнями мотивов – добросердечия, сдержанной учтивости, чтобы не навлечь на себя обвинения в гордыне.

Всем своим видом и поведением отторгать от себя пошлость, нечистоплотность толпы, глазеющей на тебя с нескрываемой ненавистью, выступая перед ней прозорливым, сочувствующим, мужественным, умеющим постоять за себя и каждый миг оценивающим себя со стороны.

Всегда быть окутанным романтическим облаком благотворного и благословенного одиночества.

Подобно истинному мыслителю, желать быть непонятым, чем понятым превратно, ибо такое понимание упрощает и уплощает его мысль. Непонятое же несет в себе семя любопытства, горький аромат неразгаданной тайны.

Музыка

17

Мне было десять лет, когда в день Воскресения Иисуса я замер, услышав расширенный акустикой городской церкви величественный хор из "Мессии" Генделя – "Аллилуйя". Это было ликование ангелов по поводу вознесения Иисуса на небо.

Потрясенный до глубины моей еще неокрепшей детской души, я вернулся домой. Новое ощущение мира и жизни раскрывалось с каждым подобранным мной аккордом. Чудо было в том, что я их извлекал своими пальцами. Меня невозможно было оттащить от фортепьяно. Занятие годами, поиски сочетания тонов и аккордов научили меня играть с листа.

Небесное звучание, мощь, сам феномен музыки, оживающие в звуках нотные знаки, доводили меня до слез.

Маленький орган церквушки в Рёккене для меня ближе, трогательней великолепных органов знаменитых соборов. Звуки у него интимней, чище, гортанней, касаются сокровенных струн души. Они словно бы струятся в безмолвии длящейся затаенной жизни, подслушанные не стихающей стихией музыки и преображаемые ею в хоралы, мадригалы и особенно реквиемы, доводящие до благодарных и благодатных слез очищения.

Параллельно учебе игры на фортепьяно, я пробовал импровизировать, сочинять первые музыкальные композиции. Трудно было вначале понять, что с чем приходит – головная боль с музыкой или музыка с головной болью. Но затем пришло понимание: самозабвенная отдача музыке доводит до головных болей, долгое вглядывание в ноты приводит к болезни глаз. По этой причине, меня, десятилетнего подростка, освобождают летом тысяча восемьсот пятьдесят шестого от учебы.

Колокольный звон в детстве ощущался каким-то странным подъемом духа. Это было легкое общение с Ангелами, неожиданный праздник среди мертвых будней, куда взрослые вмерзли всей своей жизнью, этой горстью плоти, этим обтрепанным ворохом дней.

В этом и сущность музыки. Относитесь к ней налегке. Откровения придут, и чересчур скоро. Так рано я, Фридрих-Вильгельм, утратил радость своего кайзеровского имени. Я уже не мог играть жизнью по-детски, как ветром. Счастье это затянувшееся детство мира, музыка хочет его продлить, и не в силах. А на улицах обступают кольцом, дышат мне в затылок евнухи жизни. Скучно их существование, отравлено сознанием, что их понимание мира весьма ограничено. Вот они и пытаются развеселить себя войнами. Это уже палачи, ханжески прикрывающиеся верой. Существа, начисто лишённые слуха. Обломки мертвой природы. Умеют лишь физически заправляться и оправляться, и поднимать руку, если в ней – топор, нож или ружье.

Удивительно, что десятилетним подростком я уже так видел мир. Музыка вызывала во мне смесь наслаждения и страха.

Было ли это первым смутным предчувствием того, что я позднее вырвусь из теней страха Божьего, отвергну небесную музыку и вместе с ней – Бога?

Тогда, в детстве, я понял, что только музыка дает силы и возможность претерпеть все неприятности и невзгоды. Когда я здесь музицирую, в доме умалишенных наступает тишина.

С течением времени музыка становится истинным спасением. Когда я прикасаюсь к прохладным клавишам фортепьяно, они сами скользят, извлекая из моей души скрытую в ней гармонию, уравновешивающую жесткость и необычность моих мыслей, стремящихся перевернуть закосневший склеротический мир, который, кажется, еще миг скует меня по рукам и ногам. Музыка мгновенно освобождает от этих оков. И если в мыслях я мечу громы и молнии, в музыке меланхолический Шуман может довести меня до слез.

18

Фортепиано – неперенный атрибут дома умалишенных.

Раскаты аккордов и пассажей из-под моих пальцев, кажутся обнадеживающей вестью иного мира, льющейся из некоего тайного раструба в эти стены, пропахшие разлагающейся плотью в смеси с карболкой и сердечными каплями. Обитатели дома замирают. Никаких стонов и криков.

Вероятно, через какие-то отдаленные польские корни меня всегда тянуло к русской литературе, особенно усилившейся после знакомства с Лу и ее любимым поэтом Тютчевым. Но еще до нее, в двадцатилетнем возрасте, я сочинил музыку на стихи Пушкина "Буря мглою небо кроет..." и "Заклинание", словно предчувствуя в нем собственную судьбу:

О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые,
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые,
О, если правда, что тогда
Пустеют тихие могилы, –
Я тень зову, я жду Леилы:
Ко мне, мой друг, сюда, сюда!..

Иногда я повторяю этот романс на фортепьяно дома умалишенных, словно жду дорогую мою живую Лу, блуждающую тенью где-то в мире, как герой романа ждет Леилу.

Не оставляю клавиши помногу часов. Меня раздражает все, что нельзя выразить музыкой.

Странные мысли посещают меня во время игры. Мне видится аккорд фикцией, мгновенным сечением голосов, и каждый вопит не своим голосом. Каждый мир кричит о своей заброшенности, боли, а вместе – благозвучный аккорд.

Голос – улика. Хор – коллективное покрытие преступлений. Музыка надо слушать вертикально, чтобы в одном из ее пластов засечь себя.

Дело весьма трагическое – погрузиться в Преисподнюю, и при этом сохранить веру в порядок и смысл.

Это всегда – чудо и печаль – одиноко среди немоты мира, в сумасшедшем доме звучащая музыка. Она падает каплями, впадает в беспомыслие. Вдруг спохватывается, путаясь и пытаясь в единый миг раскрыть всю свою невероятную глубину, но, испугавшись собственной смертельной доверчивости, сворачивается улиткой в раковине.

Глубинные струны колеблют пламя свечи.

Когда затихает головная боль, отступает чувство рвоты, готовое вывернуть нутро, наступает беспечальность, обнадеживающее отсутствие.

Как счастливое ощущение свободы, обнаруживается в душе изначальная жажда бродяжничества, ставшая в будущем формой моей жизни.

Музыка истаивает, как пламя свечи, исходящее воском.

Спасение ощущается в случайной скрытой связи музыки со временем.

Музыка лечит.

Прием же лекарств – скорее ритуал, чем помощь. Из этих стен только музыке удастся упорхнуть, сбежать в воспоминания начала века, оставив следы в кажущейся в этих стенах нелепой лепке потолка.

Не хватает органа, дыхание которого чудится спасением в этом доме умалишенных – миниатюрном филиале Преисподней.

Сколько там боли и страха. Ничего не исчезает.

И приходит музыка, – и природа перед ней оказывается младенцем.

19

Музыка – заклинание: воскресить боль.

Когда звучит музыка, веришь, что жизнь не проиграна.

Лучший психиатр – сочинитель музыки. Он знает, что такое страдание.

Что эти паузы? Провалы в небытие? Оцепенение от увиденного ужаса в разверстой бездне?

Находить в безнадежности удовлетворение – вот Преисподняя.

Темное изобилие звуков толпится у входа в Преисподнюю.

Там – в гибельной неотвратимости творчества – у того, кто творит, нет родных. Нет женщины, детей, самой жизни.

Есть лишь музыка, неведомо откуда вливающаяся через отверстие слух в остолбеневший мир.

Замирает дыхание. В музыке слышится движение крыльев.

Улетает душа? Или кружится в отдалении, мучительно желая приблизиться и зная, что это невозможно. На миг все открывается и становится на свои места.

Это не музыка.

Это мольба о потерянной душе.

Ком стоит в горле, пока пальцы двигаются по клавишам.

Печали нет. Слезы катятся из глаз от угадываемого музыкой, мольбой, безмолвием сокровенного знания, перед которым нельзя лгать и фальшивить. Знание это выворачивает душу, берет на себя всю смертельную тяжесть неудавшейся жизни. Оно говорит правду, которую я сам от себя таю. И слезы текут в благодарность и от непереносимости собственной лжи, предательств и гибельной слабости.

Нотные рукописи не горят.

И я слышу пение ангелов, доносящееся из расщелин неба и приносимое ветрами надежды. Голоса высших сфер. Автографы мироздания.

Я ведь всю жизнь уповаю на музыку: свести с неба, в этот мрак, Ангела добра. Угадать, отличить, окликнуть. Не ошибиться. Но вместо этого всю жизнь соскальзываю в Преисподнюю.

Каждый выделенный мной Ангел оказывается общим местом. Банальностью. Значит я давно уже мертв. Но и в Преисподнюю меня не пускают: сама цель моих страданий – поиск Ангела – их пугает.

Я бросил это дело – играть на публику, ибо однажды отчетливо увидел: в зале нет лиц. Одни маски, и не слушают, а судят меня.

За что? За то, что я хочу их выдать. Не умею и не сумею, но очень хочу.

Нет, они не боятся. Но это их раздражает.

Играя, я смотрю на отражение своих пальцев в лакированной деке. Мне это кажется спасением. Но ощущаю, что и пальцы захвачены ими.

Никуда не деться от реальности, где искусство, философия, язык – разорваны силовыми полями варварства, массового психоза, обладающего эпидемическим характером и бактериальной заразной средой, называемой идеями "прогресса, разума и справедливости".

Душа, обладающая талантом излить себя в тексте, подобна замершей клавиатуре фортепьяно. Но стоит памяти коснуться клавишами того мгновения, и оно оживает во всей своей зрелищной и музыкальной силе, пронизанной всегда светом печали.

Музыкальная память нетленна. Текст забывается. В музыке пара пассажей, – и память вольно бежит по спускам и подъемам нот, волшебную силу которых я понял еще в раннем детстве.

Разве тебя, дорогой Петер, которого я считаю прекрасным композитором, не посещало ощущение: среди этого зажатого, отжатого до последней живой капли чугунного мира в ритме четыре четвертых – внезапно – редкая – синкопа. И вот уже – убыстрение по наклону, прорыв энергии, стремительность движения, стояние на кончиках пальцев одной ноги, наклон тела за секунду до старта, дионисийство вопреки размеренному, устоявшемуся, аполлоническому началу, неудовлетворенность, обещающая стремление к цельному?!

Так никогда мне и не удалось побывать на концерте отца. Когда он играл дома, мы слушали его, затаив дыхание, трепетно вбирая возвышенный священный текст, по которому я научился читать и писать. Этому тексту я обязан своей отчаянной привязанностью к музыке – да поможет мне отрицаемый мною Бог.

Нимфы

20

Я уже не совсем убежден, было ли у меня с той или другой Нимфой что-то реальное или все это уже поздняя игра воображения. Ведь это короткое сладостное действие не закрепляется в памяти, исчезает также быстро, как и происходит.

Воображение тщится это разыграть.

И приходится признать, насколько ярче вспышка мысли от чтения или размышления, и это намного дольше ощущается наслаждением.

И все же, почему я столько думаю и возвращаюсь к ним – Нимфам – глупым Сиренам, сводившим меня с ума своим пением и самим своим видом. Я бы и сейчас заткнул уши воском, если бы его можно было здесь достать, но знаю, что это не поможет, ибо это пение и эти облики – внутри меня – все это размыто, а пение слабо, как игольное пение комара, но с ума свести может.

Когда я думаю о женщинах, первым делом в памяти возникают их волосы. По сути, для меня символ женственности – волна волос – черных, рыжих, коричневых, золотистых. И всегда – маленький рот, где-то там, среди ее красот.

О, сколько чудесных и великих вещей я упустил из-за тебя, смуглая моя принцесса! Как чрезмерно ты согреваешь мои сухие губы, как кости в видении пророка Иезекииля, под солнцем. Да поможет тебе и мне отрицаемый мной Бог, если я, для кого скитания стали прибежищем, окажусь с тобой в одном и том же кругу Ада.

С детских лет быть в пути – расти, мужать, образовываться, обновляться, сбрасывать кожу, обрастать новой не просто в постоянно меняющемся окружении, а быть все время как на чужбине, без чувства пристанища, своего угла в мире. Так вырабатывается особый характер, воспринимающий любое существо, перебегающее мою нескончаемую дорогу на тараканьих качающихся ножках, за демона, духа, исчадие Ада, чадающее как головешка, не щадящее встреченного на дороге.

И лишь не зависящее от нашего разума вождение преодолевает страх сближения с демонами в женском облики, Нимфами, Сиренами, раскрывает в нас доверчивость к ним, весьма приблизительно называемую любовью.

Мысли же, в прошлом столь часто посещавшие меня, ныне подобны уставшим обессиленным птицам, которые раньше доверчиво садились мне на ладонь, теперь же садятся в поисках спасения. Старость, дряблость крыльев заставляет их это делать. Не узнаю их, птиц моего юношеского одиночества, злых, независимых, дорогих моему сердцу.

21

Несколько лет назад, на свободе, в приступе одиночества и неотстающей тоски по женщине, я подолгу стоял голым перед зеркалом. Я ощущал себя подобием любимому моему, воплощению неуправляемой дикости, сотрясающей все тело похоти, лисьего льстивого коварства, богу Дионису. Длиннорукий и коротконогий, я был похож одновременно на Силена и Сатира.

В этом же логове умалишенных, такое удовольствие, к большому моему огорчению, мне не дано. Да и вообще ноги мои бегут впереди себя, пальцы сжимаются в кулаки. Руки поднимаются и опускаются, как рычаги вхолостую работающего мотора.

И только мужское мое достоинство не встает, сколько бы моя страсть и вождление не пылали. Я гляжу на него, поникшего между моих бедер. До какой степени любовь может принести боль, чтобы из него брызнула кровь?

Необходимо разрешить плотские наслаждения, чтобы осуществлялись добрые порывы души, ибо аскетизм, веющий от статуй христианских святых это не праведность, а отклонение от естества.

Моя дорогая Лу была скромна в крайнем смысле этого слова, ибо поставила препятствия и всяческие уклонения нашей страсти. Но ни разу мы не познали скуку, ибо она всегда была нова и неожиданна в разнообразии женских тайн, которое делало ее божественной, неутолимой источником радости.

Но от моей сексуальной недостаточности нужда в женщине не уменьшается. Наоборот, увеличивается. Раньше я тешил себя мыслью, что вот-вот, совсем скоро, избавлюсь от этого наваждения, и смогу привязать весь мой природный пыл к нуждам философии, а не фаллософии. Этого не случилось, и я полагаю, что это никогда не случится.

Философия всегда будет у меня играть вторую скрипку после нужды плоти.

Я очень много сил извел, размышляя над тем, что предваряется в моей сущности – сексуальная озабоченность или неотстающая страсть к философии. Страсть эта гнала меня в ухоженные сады Канта, в геометрическую шагистику Гегеля или в чертополох Шопенгауэра: в нем я чувствовал себя, как младенец Моисей в корзине, несомой течением Нила, неосознанно ожидая, когда меня найдет дочь фараона.

Существа противоположного пола сводили меня с ума даже в часы чтения книг, плывущих мне в руки бесконечной чередой. Удивительно, пугающе, я бы даже сказал, мистически, меня потрясло, что в них, приходящих случайно, все говорило именно о том, что меня волновало, сбивало с толку, вызывало то ярость, то радость, на пике которых я обнаруживал прорывающееся во всем этом, опять же, вождление, с трудом сдерживаемую похоть, пока еще лишенную цели, но готовую, к вящему моему испугу, опрокинуть всяческую мораль.

И все же, испытывая сомнения, и каждый раз отбрасывая их, я могу озвучить горькую и прекрасную истину, что, именно, эта неотступная запретная страсть привела к написанию моих гениальных произведений.

Выходит ли так, что мои злые Нимфы, преследовавшие меня все годы, лишившие меня разума, запершие меня в дом умалишенных, были, тем не менее, моими Музами?

22

Меня потрясает, сбивает с ног отсутствие в них сострадания, хотя во многих книгах трубят, что женщины любят слабых мужчин из весьма развитого чувства милосердия. Я же воспринимаю это, как заведомую ложь авторов, тщательно скрываемую ими хитрость, подобную кусочку сыра, манящего мышь в мышеловку.

С юношеской категоричностью я давно пришел к выводу, что именно они, женщины – существа аморальные и опасные. Все эти Нимфы, Сирены, Сильфиды повсюду трубят о морали, а сами втягивают нас, мужчин, в распутство с последующим раскаянием и прочими страданиями духа.

С одной стороны, это привело меня к тому, что я с безумной легкостью, встретив любую обаятельную, злокозненную Нимфу, тут же предлагал ей выйти за меня замуж. С другой стороны, я тут же бежал от них, как чёрт от ладана.

Подводя сегодня в этом смрадном месте итог моей жизни *Sub spezia aeternitatis* – под знаком вечности – я остался у разбитого корыта – без женщины, без семьи, без детей, со зловещей сестрой, строящей планы своего будущего благополучия и даже славы на "свихнувшемся" гении-братце, искажая все, что им написано, но не опубликовано, в полнейшей уверенности, что он этому уже не сможет помешать.

О, да, я оказался для нее лакомой мышью в мышеловке, я могу лишь, подобно этой мыши, попискивать и пописывать тайком свою исповедь, за которой она охотится с остервенением ищейки, оправдываться и знать, что все эти оправдания никому не нужны.

Сколько я всю жизнь не бесился и не боролся против Бисмарка, он победил меня.

Более того, его продолжатели, эти пруссаки и солдафоны, выставят меня в его оправдание. И все же я уверен, что это не может продолжаться, и в будущем с большим треском и большой кровью провалится в тартарары. Ложь сильна, но недолговечна. Время меня оправдает и воздаст по заслугам.

Но что мне до этого – ведь меня уже не будет.

И все же, нет, не зря я царапаю непослушными больными, по сути, парализованными пальцами эти строки. Буря близка. Она разразится в моих небесах, полных летучих мышей мерзости, вылетающих из моего мозга, которые превратятся в чистых и блестящих птиц, омытых горным дождем.

Когда эти тайком записываемые мной строки будут опубликованы, буря очистит ландшафт памяти, насытит жажду моих порушенных костей.

Стоит включиться воспоминаниям, как тут же некоей предварительной памятью, наваждением, наказанием Судьбы возникает эта чередка Нимф – Мама, Лама, Лу. За ними маячит Козима, дочь Ференца Листа, супруга Рихарда Вагнера, а, по сути, лишь моя тайная жена. Еще дальше – бледными тенями – те, которые возникали на моем пути и запомнившиеся лишь тем, что я столь же мимолетно, беззаботно, предлагал им руку и сердце, как Хлестаков, персонаж гениального русского писателя Гоголя, сочинения которого читал опять же, вернувшись в Наумбург осенью тысяча восемьсот семьдесят девятого.

23

Как Улисс, я залепил уши воском, привязал себя к мачте и уплыл в дали в поисках Сирен, то бишь, Нимф. И они ворвались в мои уши любовным пением. Воск и веревки, которыми меня привязали к мачте, не спасли меня от их уловок, ибо в их руках было мощнейшее желание – извлечь меня из моей монашеской кельи в сумрачное сознание разочарованной любви. Вместо песен они излили на меня молчание, трепет и содрогание от их безмолвных насмешек надо мной. Нагим лисом прокрался я к ним, но Лу и с ней все остальные Нимфы были более – нагло наги, чем я. Они прижались к крутым скалам, и я разбил о них свою голову. Скользящее золото их волос для меня тяжелее крышки гроба.

Я не смогу больше любить, и потому не смогу больше жить.

Да, я науськивал других – вести себя с женщинами жестко и жестоко, но сам испытывал к ним жалость.

При виде избиваемой возницей лошади в Турине, я рванулся из дома, и обнял животное, обливаясь слезами над горькой ее судьбой.

В этом – разрыв между тем, что я проповедовал, и тем, что осуществлял. И это частично суть великого разрыва в западном духе, впавшем в безумие, как и мой дух.

Что поделаешь, Европа девятнадцатого века не похожа на Грецию и Рим древних времен в период Перикла, или на Северную Африку в дни святого Августина.

Свободные общества в классический период дозволялись лишь, когда принятые ими принципы не подвергались угрозам со стороны анархистов, социалистов, коммунистов из епархии Карла Маркса, которые пытаются стереть разницу между господами и рабами, гениями и бездарностями, и превратить наше общество в сырьевой сброд.

Вера в женщин подобна идолопоклонству, и в наше время, когда принципы уже не диктуют верность, как необходимое свойство человека, мы поклоняемся идолам, облаченным в прусский мундир или в шелковые трусы.

Это преклонение перед идолом, будь то правительство или девушка, не указывает на угасание язычества, а просто является величайшей, и потому весьма опасной тупостью.

Вообще-то, женщины, подобно евреям, никогда не получали статус смертных. Они – или ангелы или бесы, или то и другое вместе. Они поднимаются и сходят по лестнице Иакова, то в Рай, то в Ад. Они не выбирают существовать, ибо они и есть – существование, выражая телом своим вечную суть добра и зла.

И так как женщина это сила природы, глупо обвинять ее в ущербной нравственности. Глядя на сочное, влекущее соблазном вгрызться в него – яблоко, которое долго, медленно, но упорно вырастает из малого семени, я думаю о медленном созревании человеческого рода, порожденного женщиной и предназначенного, вопреки всему, к выживанию.

Надкусив яблоко, я думаю о медленном созревании человеческого рода, который предназначен выживанию. Когда в один из дней приходишь к пониманию наслаждения, открывается глупость придуманных нами страстей, отдаляющих нас от первой, девственной ностальгической тяги к скрытому величию простых вещей, суетливости болтовни, медленного и ужасного пробуждения миров, которые не минуют человека.

И, несмотря на это, какое чудесное наслаждение чувств, когда они соединяются вместе – учить сынов человеческих красоте, заключенной в искусстве и вносящей в нас подспудно жажду выживания.

Глуп вопрос: какова цель этого выживания. Оно не поддается объяснению, ибо это – "чудо вопреки". Своим упорством бессмертия через "вечное возвращение" равного, то есть непрерывной цепи возрождений, никогда не надоедающих, каждый раз поражающих новизной, хотя и заранее досконально известных изначально, это чудо ставит в тупик человеческий разум своим невероятным, хотя и естественным упорством. Оно как бы стоит за пределом всех возможных объяснений, которые изо всех сил интеллекта пытаются дотянуться до последнего понимания.

Разум теряется, подозревая, что разгадка проста, но недостижима и непостижима. Это не оставляющее душу побуждение подобно изначальному пробуждению мира, начало которого не раскрываемо. Потому смешным кажется стремление человеческого разума – определить "конец дней", "прекращение течения времени".

Это подобно загадке и тайне Вечно Женственного. Именно оно, подумать только, из Небытия породило жизнь.

Было бы дано мне второе детство, кажется мне, я бы предпочел публичный дом праведному и ханжескому, в котором рос. Облик женщины, если бы я еще случайно был в нее влюблен, предстает передо мной как из рук вон выходящее явление. Конечно, это я из рук вон выходящий.

Я человек богемы, не берущий в рот ни капли спиртного.

Смеялись надо мной, когда в своей книге "По ту сторону добра и зла" я сказал, что нам надо относиться к женщине, как имуществу, по традиции Востока.

Ведь правда в том, что женщина, чудище Франкенштейна, созданное из кладбищенского праха, преследует мужчину до смерти.

Моя рекомендация – обращаться жестоко с женщинами – смешотворна, как рекомендация мыши по имени Ницше в совете мышей – вести себя жестко с диктатором-котом, хотя и подкреплено притчами Соломона.

Как я сказал в "Заратустре", женщины не способны на дружбу. Они все еще на ступени котов и птиц. Но я не согласен с Шопенгауэром, что эрогенные зоны у женщины, как грудь, отличаются животной красотой, а не являются ловушками, которые выставила природа, чтобы охотиться за мужчиной через его страсть к совокуплению.

Когда-то я сказал, что хотел бы жить в Афинах Перикла или во Флоренции Медичи, ибо это были два золотых века, в которых женщины считались произведениями искусства, а не кандидатами в мастерские ремесленников или места по изготовлению квашеных овощей.

Аспазия в моих глазах – идеальная женщина, отличающаяся знанием искусств вдоль и поперек, мудростью и умением любить. И какое-то время я верил в то, что Лу является воплощением ностальгии по Аспазии.

Моя тяга к иллюзиям привела меня к падению.

24

Иногда, чаще всего, под утро, на грани слабого сна и тошноты бодрствования, возникает угадываемый широко раскинутым вдаль пространством под веками рассвет, обвеиваемый ветхостью едва уловимых сновидений.

Не ясно, сны это или всплывшие события родовой памяти, вековые видения, длящиеся под веками. Спишь ли ты, бодрствуешь, пытаешься уловить такие знакомые, но тут же ускользающие образы, ощущая тошноту их ветхости и невнятных очертаний, напрягая зрачки под веками, твердо зная, что ты уже это видел отчетливо и полно.

Тошнота усиливается от этого ощущения топтания на месте, дурного повторения, вечного возвращения того же самого, отменяющего линейную бесконечность.

Приходит беспощадное понимание того, что я странник, и земля, несущая мою тень, ускользает, как нечто, самое главное, которого мельком коснулся еще до сознания, и потому уже никогда не вспомнишь.

Первобытна сладость кочевья. В теле – невероятная легкость, то ли от того, что почти не спал, то ли мало пил.

Потусторонний ветер трогает висок.

Оказывается, нирвана не сладкая пустота. Она заселена медово отцеженным, лишенным горечи прошлым.

И если прежние земли твоей жизни угнетали своей повторностью – трав, лесов, рек, птиц, – эти пространства под пятой вечного странника до оглушения беззвучны, смертельны всерьез и пугающе эфемерны.

И невольно проверяя прошлое, осевшее в иных измерениях резко скачущими параметрами новой жизни, пытаешься сфокусировать то прошлое, то настоящее, я в суетности попыток получаю одни размытые изображения, подобные миражам в пустыне.

Предчувствие рассвета приходит вместе с запахом сухих кустов, обрызганных росой и ощущением края земли за оградой сумасшедшего дома. Солнце врывается в мой дневной сон. Если у смерти есть дыхание, оно, вероятно, так пахнет – тлетворным жаром, пеплом, золой.

Дневной сон расплывается. И в нем слышится долгое нашептывание о спасении душ, обнажении космического сознания, однажды коснувшегося земного мира. И давние жизни

соединяются в цепь, потрясают воспоминаниями каких-то дальних перекрестков счастья, мгновений солнца и тишины, музыки и света.

И все это рвется в символы, достаточно стертые и потому еще более влекущие. И внезапно становится так легко, будто вся моя жизнь лишь на то и задумана, чтобы тратиться на разгадку этих странных символов. Душа жаждет остаться на синих высотах, но там ее как бы нет, и ощутить себя она может лишь в этом душном мире.

Но тут она в слишком большой безопасности, чтобы себя познать, ибо лишь на лезвии гибели открывается ей собственная сущность.

Мучительно изводящие ее вопросы пробиваются из Ветхого Завета, но касаются лишь ее: кому быть слугой, как Иов, чьим быть любимцем, как Авраам, с кого требовать равенства отношений, а не благодеяния слуге и потакания любимцу.

Внезапно пробуждение.

Луна стынет в бесконечной волчьей темени слепящим отверстием, подобно жерлу тоннеля сквозь чернокаменную стену неба в иной лунатически прекрасный райский мир, куда уносит безвинные души, осуществляя многолетние фантазии безумцев и арестантов о победе, и не просто в иную гибель, а в райские эмпиреи.

Пробуждение охватывает ледяной водой, и придвинувшееся вплотную пространство смотрит мне в душу отрешенно-остановившимся, обдуманно жестким, холодно мечтательным взглядом убийцы и самоубийцы одновременно.

Гроза

25

Проза как угроза или гроза. Слабому уму она грозит окончательным отупением, сильному, при больших дозах и внезапных грозах, радостью освобождения.

Вчера, на прогулке в сопровождении санитаря, дебила со стажем, нас внезапно захватила гроза. Она так перепугала этого набожного тюремщика, что он с криком убежал под какое-то прикрытие, забыв, что меня, под угрозой увольнения, нельзя оставлять без надзора. Я же истинно ощутил свободу, чувство калифа на час.

Я поднял лицо и руки навстречу молниям и ливню. Я пытался перекричать раскаты грома, сообщая небу, что я человек Рока, вечный странник, помню молитву из Ветхого Завета: Господь, посылающий дождь, не внемли путникам на дорогах.

Когда Распятый испустил дух, грянула вселенская гроза, очищающая мир. Я явственно ощутил прихлынувший из молодости избыток сил. Я взывал к людям: чувствуете ли вы свежесть озона?!

Гроза в один миг смяла все погруженное в дремоту пространство.

Всеми фибрами души я ощутил высшее напряжение мгновенно протянутой между небом и землей грозы – мимолетного божества природы, хлещущего во все концы, сотрясающего пространство преизбыточным разрядом энергии, чтобы через несколько минут, младенчески пузырясь, в блаженной расслабленности растечься по земле.

Но в этой мимолетности таилось предвестье вечности.

Прелюдия. Опус №2

Я – лабиринтный человек.

26

На все истинное я наткнулся случайно и внезапно: мальчиком – на хор священных литургий, юношей – на фортепиано, музыкантом – на словесность, в полном потрясении – на Шопенгауэра, Достоевского.

Короче, всегда – на Минотавра, охраняющего лабиринт. Случайно, как это всегда бывает, когда сталкиваешься с собственной судьбой лицом к лицу, переступив порог в мир Шопенгауэра, я ощутил, что теряю почву под ногами – не в смысле падения в бездну, а в смысле воспарения.

Но и то и другое ощущалось столь связанным и отныне уже неотвязным, что бросало в сотрясающий все тело восторг на грани панического ощущения и как бы предвестия – "оказаться по ту сторону ума".

Хотелось сбежать, убежать обратно, во времена неведения, или немедленно свернуться, как зародыш в чреве, погрузиться в сон, как в некое преддверие спасительного рая.

Угадывалась нетерпеливо ожидающая меня за сном, дверью, пробуждением – неотвратимая моя судьба, как Ангел с мечом в преддверии Рая. Причем, однажды возникший Ангел уже не отставал. Он уже не охранял от меня врата Рая, а шел за мной по пятам, преследовал, обступал, когтил.

Сам факт внезапного открытия, отталкиваемого душой, не желаемого, но влекущего воодушевления, заставляющего содрогаться все тело – до тошноты, рвот, потери сознания – переворачивал весь ничем не сдерживаемый вал жизни, набегающий каждое утро.

Это было, как окончательный неизвестно за что и кем вынесенный приговор, навязанная экзекуция изнутри и извне.

Я уже понимал, что придется привыкать, приспособливаться жить в этой невыносимости.

Не потому ли я так спешно, почти лихорадочно, предлагал руку и сердце женщинам, ибо в этом виделось мне спасение, и это их отпугивало.

Я лукавил, говоря, что ищу воск, чтобы, подобно Одиссею, заткнуть уши от пения Нимф, а, наоборот, искал у них спасения. Можно ли на таком напряжении жить и не сорваться?

Первое напряжение души возникло, пожалуй, на слишком раннем переходе из детства в зрелость, от странного и страстного желания – разоблачить древнюю Грецию, а в ней скрытые истоки будущей судьбы Европы. Ведь Греция, или, все же, мягче – Эллада – это подбрюшье Европы, а оттуда идут животные инстинкты сатиров и сатурналий, исступления бога Диониса, прикрытые фиговым листком снизу, и лавровым венком красоты и мудрости Аполлона – сверху.

День обожаемой древней Эллады ощущался, как облитый средиземноморским солнцем музей гипсовых фигур богов, богинь, пифий, среди которых гулял темный ужас бога Диониса.

И в этом ужасе, вслепую, вначале на ощупь, брел я, по сути, юноша, в двадцать четыре года ставший профессором классической филологии, специалистом по древней Греции.

История Ариадны, Тезея и Минотавра, – именно в годы учения подростка, превращающегося в юношу, завлекла меня в сети, в лабиринты, увлекла греческим языком, сделав меня

в Базеле профессором по этому предмету, дав мне прививку ориентироваться не по жизни, а по мифам.

Мифы Греции стали схемами моей жизни.

Она ощущалась мной, с одной стороны, погребенной под слоями мифов – порожденных кентавром фантазии и филологии, с другой стороны – слишком обнаженной. Мертвый ее скальп, а не живая голова, был раскрыт скальпелем философии – в страстном желании добраться до истинной Греции, и обе эти стороны вовсе исказили ее реальный лик.

Надо было лишь оглянуться во вчера, чтобы увидеть одним обхватом две с половиной тысячи лет раскрытых мною заблуждений западной цивилизации.

В поисках истины, бьющейся бескрайним морем в отступающий берег сегодняшнего дня, я преодолевал болезненность и головокружение высотами, как Гете, подолгу стоявший на колокольне Кёльнского собора.

Иногда мне кажется, что я играл роль сексуального маньяка в духе – этакого "Дон-Жуана познания".

Это ведь мои слова: "Я всегда писал свои книги всем телом и жизнью: мне неизвестно что такое чисто духовные проблемы".

Пытаясь всем своим гением создать в противовес существующей планете планету собственную, я надорвался и сорвался... с орбиты.

При всей сложности и хаотичности моего учения нет более четко прочерченного метеором жизненного пути, завершившегося ожидаемым мной самим – полным крахом.

Я жаждал овладеть миром в духе, но ведь мыслил и писал на немецком языке. Потому это звучало, почти, как "Дойчланд юбер алес".

На этой почве возникнет в грядущем тиран. Это в обычном филистерском сознании масс укрепит связь между ним и мной.

И я окажусь идолом последователей Бисмарка, идеологом антисемитов.

27

Главный мой конёк – афоризм. Метафора. Большой объем в сжатом выражении. Орлиный обхват с больших высот, ясновидение до мельчайших, казалось бы, второстепенных деталей, внезапно оказывающихся первостепенными.

Ощущение фрагмента.

Уже в начале фрагмента, мне смутно, но достаточно ощутимо брезжит его завершение. Или же я целиком и мгновенно схватываю весь фрагмент.

Я – лабиринтный человек.

Я всю жизнь ищу Ариадну. Кто, кроме меня знает, что такое Ариадна?

Неверная Тезею, она наставляет ему рога с Дионисом.

О, эти треугольники: я – Лу – Ре. Я – Козима – Вагнер.

Кто третий лишний? – Ницше.

Для меня Ариадна – пожирательница душ, а не Минотавр: вспомним изречения царя Соломона о женщине.

Жила во мне жажда – стать противоположностью Одиссею, не залепить уши воском, спасаясь от губельного пения Нимф, а стремиться в смертельном восторге к этому пению.

Одиссей покинул Итаку, и, странствуя, рвался обратно.

Я же навсегда, казалось, покинул родное гнездо, носился с места на место, но это, по сути, было кружение вокруг да около – тех же мест и тех же Нимф – злых матери и сестры, соблазнительниц – Лу и Козимы. И все, как пиявки, присасывались к моему гению. Но вовсе не с пользой моему здоровью, а только – на гибель.

Христос отрицал всё, что сегодня называется христианским, – писал я. Таким образом, Христос на моей стороне в борьбе против существующего христианства.

Часть первая. Йена

*Как овцы, жалкою толпой
Бежали старцы Еврипида.
Иду змеиной тропой
И в сердце темная обида.*

*Но этот час уж недалек:
Я отряхну мои печали,
Как мальчик вечером песок
Вытряхивает из сандалий.*

Осип Мандельштам

Глава первая.

Тетушка Розалия

28

Сегодня у меня один из самых мерзейших дней в этом вертепе безумия и подавленных страстей.

Говорят лишь об Ангеле смерти, и ни слова о Нимфах смерти.

Но сегодня они вдвоем явились по мою душу подозрительно рано, причем, с весьма озабоченным видом, не переставая пререкаться то громко, то шепотом. На меня – ноль внимания, – я ведь сумасшедший, – хотя по различным, незаметным, но отдающимся в моей душе громами и молниями признакам, понятно, что речь идет обо мне. Подобно двум патентованным рыночным торговкам, они делят меня, как товар, заранее подсчитывая барыши.

Сбываются худшие мои подозрения.

Две эти религиозные ханжи, вошедшие в доверие к тупым стражам дома умалишенных, напоминают мне древних блудниц, копошащихся у креста, на котором я распят.

И это несмотря на то, что я еще проявляю признаки жизни. Не стесняясь окружающих зевак, жадных в этой юдоли скуки и смерти до малейшего зрелища, бранясь, они делят мой жалкий скарб, но замахиваются на мой гений.

Черта с два они смогут до него докопаться. Только и всего, что разменяют его на тридцать серебряников. О, да, они молятся Святой блуднице Магдалине, но им до нее, как до неба, куда скоро унесут меня Ангелы.

Как я ни пытаюсь избежать всех разговоров и вообще касающихся меня звуков, они насильно настигают меня, достигая моего слуха. Это мучительно, как экзекуция.

Ненароком, или по злему их умыслу, доходят до меня реплики двух этих Нимф смерти – Мамы и Ламы, касающиеся меня, унижающие мое достоинство, словно Некто хочет до времени лишить меня сначала разума, затем – жизни.

Это мучительно преследует меня, как только я оказываюсь в их обществе. Ведь в лицо мне они говорят совсем не то, о чем шепчутся между собой, и этот шепот сводит меня с ума.

Самому мне непонятно, почему я так безвольно сдаюсь инсинуациям этих двух патентованных лгуний, ханжеских дьяволиц, могущих стереть в порошок любое существо их пола испытанным веками оружием – обвинением его в разврате, проституции, ведьмовских замашках. И меня, с отвращением, вопреки внутреннему сопротивлению, втягивает в эту клоаку, в эту воронку мерзости, дном которой будет моя гибель.

В последнее время, вот, как сейчас, они вообще перестали меня стесняться, скандалят по моему поводу при мне, говорят обо мне, как о постороннем, охраняемом, как реликвия, раритете.

Причем, старуха более снисходительна.

Молодая же ведьма раздражительна и категорична.

Они, кажется, ссорятся по поводу моего наследия: кто им будет распоряжаться.

Я, истинный кретин, разбрасывался черновиками, которые следовало сразу уничтожить. Счастье, что я успел опубликовать свои опусы, пусть даже частью за свой счет. Но немало осталось в черновиках.

И судя по всему, моя сестрица, изошренная ведьма с Брокена, вовсе не по ошибке вышла замуж за остервенелого антисемита Фёрстера, искренне уверенного, что именно евреи лишили его возможности стать богатым, и в отчаянном бессилии наложившего на себя руки, что в определенной степени даже говорит о его смелости.

Я, вот, на это решиться не могу.

О, боги, с кем я себя ставлю на один уровень, с ничтожеством, одержимым ненавистью?

А мои дорогие доброжелательные родственницы-ведьмы обложили меня, нюхом втягивая запахи моего бессилия. Но раздуваемые жадностью ноздри молодой ведьмы чувствуют давно желанную добычу – меня, все же надеющегося выкарабкаться из этой ямы, этой расставленной ими ловушки.

Я ведь с самого раннего детства не раз выкарабкивался из этих подстерегающих меня сначала дорогим умершим отцом, которого я пережил на двадцать лет, а теперь – матерью и сестрицей – могильных ям.

Эта развившаяся во мне цепкость, хотя я обдирал пальцы и душу до крови о скользкие края ямы, позволили совершить то, что поразит весь мир.

И это я говорю о себе без ложной скромности и подчас безумного высокомерия, которое поражало меня, как гром среди ясного неба.

Но рядом с этими двумя Нимфами смерти, ведьмами, жрицами зла, поедающими меня заживо, я трезвею и становлюсь абсолютно нормальным.

Ненависть ближних обостряет разум.

Тем более, я все же не прикован к постели "матрасной горячкой", как любимый мной Гейне. Он ведь, как Иисус, вернее, пошедший по его стопам, остался евреем, как и Распятый, до последней секунды своей жизни оставшийся верующим евреем, выступившим против своих же корыстолюбцев, пораженных похотью власти, пусть и под командой Римской империи, и, вероятнее всего, перегнувший палку.

В России, зараженной вирусом анархизма и демократии, его бы, несомненно, уpekли в Сибирь. А нынче бьют лбом в пол ему поклоны, бьют себя в грудь, каясь, словно бы они вели его к распятию.

Нет, я все же выкарабкаюсь из вырытой этими ведьмами очередной ямы, ибо душа моя не выдержит такого унижения. Это не может длиться вечно. Они приближают мой конец. Но эти мои записи меня спасут, как все, мной написанное, не раз спасало меня.

Нет, в отличие от всех в этой обители, покорно ждущих одного – своей смерти, в омерзительном для меня мазохизме желая этим угодить своим ближним, которые еще более омерзительные ханжи и лицемеры, чем их жертвы, я не сдамся. Эти ближние ждут смерти своих жертв, подсознательно радуясь, что отлично устроились.

Чужаки, называемые врачами и медсестрами, охраняют их добычу, которая достанется им без всяких трудов, неприятностей, возни с больными, в которых просто невозможно признать родные души, и это можно делать с наименьшими потерями и уроном для их душевного здоровья, лишь изредка посещая этот дом.

Именно то, что Мама и Лама зачастили сюда, возбуждает все мои подозрения, обнажая всё мое бессилие. Тем более что они могли устроить меня в более приличное заведение этого рода, в отдельную палату, с лучшими питанием и обслугой, и более профессиональными эскулапами, такими, как доктор Симхович. Он относится ко мне с уважением, несмотря на мои животные вспышки, ибо он вник в стиль моей речи, когда я спокоен и членоразделен. Он просто бессилён устроить меня отдельно от этих чурбаков, мнящих себя Наполеонами.

Он даже смеется, когда, как бы всерьез, слушая этого "лаптя", возомнившего себя Наполеоном, я говорю: "Он просто не понимает, что Наполеон не он, а – я". И все же опять кто-то из тупых этих эскулапов записал, что я выдавал себя за императора Наполеона.

От психолога меня воротит больше всего. Это откровенный шарлатан с набором глубокомысленных "гм, хм", и неутомимым, выводящим меня из себя, повторением последних слов моих уклончивых ответов... «та-та-та... глупости", "та-та-ты... дерьмо", и непонятно при повторении, кто дерьмо – "ты это я" или "ты это он".

– Похвально, – изрекает этот болван, принимая это за самокритику, и, значит, за некий признак моего выздоровления, во всяком случае, ментального, вне отношения к моим физическим недомоганиям. Этот психолог похож на говорящего попугая, повторяющего до тошноты несколько выученных фраз, кажущихся неожиданными при каждом новом вопросе.

Психологический анализ – единственное, что преуспевает в соревновании в деле любви к длительным страданиям.

Станным образом, больше всего беспокоит меня сейчас реакция людей на мои отношения с Мамой, Ламой и Лу Саломе.

Есть вещи, раскрытие которых является оскорблением святости чувств, брошенных на осквернение толпы. Многие из моих друзей будут требовать от меня ответа за то, что я втянул мать, сестру и любимую женщину в яму, которую сам себе вырыл и в которой пребываю сейчас абсолютно беспомощным, без всякой возможности, во всяком случае, в данный момент, выбраться из нее и возвратиться в жизнь.

Я охвачен ужасом, как титан, которому противно человеческое слабодушие, я чувствую потребность защищать мою судьбу, мое божество в Антихристе.

Таким образом, я защищаюсь от христианских Цирцей в лице Мамы и Ламы, которые уже высасывают мою кровь, как вампиры.

Чудовище Диониса, названное мной Заратустрой, – против Христа-вампира, согласно апостолу Павлу, растаптывало человека в пыль и прах – до абсолютной потери сил.

Печалит меня открывать все это, ибо я все еще ношу тяжесть милосердия вместе со всем христианским Западом. И существует серьезная опасность, как я уже сказал: "Человек истечет кровью до смерти в результате познания истины".

Познание боли скрыто в боли познания.

Мы помним слова Байрона, что "Древо познания вовсе не Древо жизни".

Так как я не ожидаю, что моя исповедь будет распространена среди многих, до того, как Мама, Лама, Лу и я присоединимся к отцу нашему Аврааму (или Сатане), я могу рискнуть и сказать шокирующую правду в духе изречения Спинозы: "Простить означает забыть".

Особенно вызвало мой гнев сегодня, после обеда, – неожиданное, лишённое смысла, предложение Ламы, что самое лучшее для меня оставить это ужасное место и сопровождать

ее в Парагвай, из которого она вернулась в Германию несколько дней назад, чтоб упорядочить здесь какие-то дела.

Кто-то из веселых, вечно танцующих сумасшедших, обладающий, к тому же острым слухом, услышав слово "Парагвай", пустился в пляс, напевая:

- Парагвай, Парагвай, куда хочешь – выбирай.
- Не куда, а кого... – тут же поправил его другой "артист".
- Мне казалось, что ты не любишь Парагвай, – освежил я ее память.
- Для себя – нет.
- А для меня – да?
- Для тебя, может, это будет новым рождением.
- Как у Иисуса?

Она пожала плечами:

– Вот, снова ты кощунствуешь. Ты ведь знаешь, как влияют такие разговоры на Маму.
– Она от этого не умрет. И даже если да, у меня нет сомнения, что со временем, она вернется меня терзать, и тебя, кстати, тоже.

– Это не ты, а твоя болезнь ведет себя так грубо с нами.

– О, дорогая болезнь! Но я и не думаю перебраться навсегда в Парагвай. Давай, прекратим разговор на эту тему. Это слишком далеко. Одна поездка убьет меня, если не существование под твоим крылышком. Во-вторых, твой покойный муж, несомненно, загадил Парагвай своим антисемитским дерьмом до такой степени, что он превратился в дурное место для проживания, почти такое же, как Германия.

В Германии даже хуже, хотел я сказать. Антисемитизм, когда ты изредка натыкаешься на простую и скромную еврейскую физиономию – одно дело. Но в месте, где лишь пустые постные физиономии христиан возникают перед тобой, ты не можешь дышать из-за буйствующего вокруг антисемитизма.

Эту мысль внушал мне тополинный пух, носящийся в воздухе тихим безумием после снившегося мне невидимо длящегося погрома, когда, ненавистные мне немцы, во главе с мужем моей сестры Фёрстером, потрошат окровавленными ножами тысячи скудных еврейских перин. Их сводят с ума несуществующие несметные богатства.

– Понимаешь ли, сестрица, в Парагвае, мне кажется, достаточно вещей, которые можно ненавидеть. Но для истинного любителя ненависти, Германия – это настоящее Эльдorado. На первом месте – кайзер. Только ненависть к нему может стать заработком на целую жизнь. За ним – Бисмарк – скрытый клад для отвращения. Лечащие или, вернее, калечащие меня врачи, которых ты называешь душками, уверены, что мой разум помутился. Раз так, выпорхнули из моей головы господин и его слуга. И тогда вид германского обычного гражданина на улице достаточен, чтобы напомнить чувствительному человеку: качество, возносящее этого человека выше Бога воинств Яхве, это способность ненавидеть всеми фибрами души все то, что в детстве учили его уважать и быть признательным.

30

Вовсе не странно, что после такого вконец обессилившего меня дня, мне снова приснился отец.

Он уносил в могилу ребенка.

Этим ребенком был я.

Он просто вырвал меня из сна, а, вернее, из хора, но я продолжал, захлебываясь слезами, петь "Аллилуйя", и непонятно, оплакивал ли я самого себя или это были слезы радости улетающей в небо души?

Не в этот ли миг ее начал разъедать скепсис?

Меня уносило в подсознание, как тонущего уносит на дно.

Минутой назад мне привиделся словно отпевающий меня Святой Августин.

Я уходил из жизни таким совсем юным, в неведении, что яд фальшивого рационализма Сократа уже несет смерть моей душе.

Остерегаясь погруженного телом и душой в иссушающий рационализм Зенона, я не смог уберечься от укуса Венеры, заразившей меня любовной лихорадкой, обрушившейся на меня, как морской вал, уносящий в море неверия, во тьму картезианского скепсиса.

Единственным спасением в эти мгновения было живое чувство тоски по отцу. Вероятно, в глазах моих стояло то опустошенное выражение, о котором Мама, вздрогнув, говорила: "Очнись, у тебя в глазах отцова меланхолия, как будто тлеет что-то".

А я думал – пепел.

Но в этот поздний час изматывающего сна отец стоял передо мной на грани реальности и отчаянного желания не просыпаться.

Голос отца был слаб, но мысли отчетливы: мы приходим в этот мир с одной целью – провожать в мир иной. Ты, сын, всегда стоишь на грани моего исчезновения, за которой мы уже перестаем интересоваться кого-то по вашу сторону, но на тебе лежит гнет сохранять эту слабеющую с течением времени память обо мне, о нас.

Исчезновение было скорбью.

Возникновение было любовью.

Мало что сохранилось от огромного, такого для меня загадочного мира отца, уже до последней капли растворившегося в иных чисто метафизических измерениях.

Признаться, об отце, Карле Людвиге, у меня остались очень короткие и смутные воспоминания. Помню, он был высокого роста. Во взгляде его глаз, на чем бы он их не останавливал, всегда светилась радость.

Он был образцом семьянина.

Его отношение к матери, с ее медлительной, нерешительной походкой, словно она плыла и этим чем-то смахивала на Марию, мать Иисуса, можно было назвать преклонением перед нею.

Я же по сей день не могу себе представить семью, как уютное гнездышко. По моему печальному опыту семейной жизни, главным образом, с Мамой и Ламой, это не гнездышко, а гнездо. В нем, подобно клубку змей, в лучшем случае свирепствует неуживчивость, в худшем же, лично моем, это воистину змеиный клубок похоти и ханжества, где, по существу, существование это постоянное ускользание от ядовитых укусов ненависти, порожденных неосознанной жадной сладострастия и мечтами о недостижимом богатстве.

Уравновешивающую роль в этом змеином логове играли старые тетушки, которыми вечно был запружен наш дом. Отец относился к ним с благочестивым печальным уважением.

Внутренне я стараюсь отмести эту мысль, но она не отстает от меня: неужели мягкое и осторожное отношение моего отца к матери, обладавшей щелью, из которой я вышел, посеяло во мне глубокую к ней ненависть с младенчества?

Глаза моей сестры Элизабет преданно сопровождали отца, и, при этом, она нашептывала мне, что он крошки в рот не возьмет, глоток воды не выпьет, пока не убедится, что ей, матери, и всем остальным женщинам в доме, нет нехватки ни в чем. Долго я дивился этому и, главным образом, тому, насколько это повлияло на мою жизнь записного холостяка.

Всего-то мне было двенадцать лет, и Бог предстал передо мной во всем величии неким ослепительным сочетанием Авраама, Моисея и юноши Иисуса в нашей семейной Библии.

При втором явлении Он открылся мне не во плоти, а в некоем ознобе сознания, когда добро и зло стучались в двери моей души и требовали властвовать в ней.

В третий раз Он объял меня перед моим домом истовым удушающим объятием. Я узнал посланца высших сил, ибо в мгновение ока – око мое схватило святую троицу – Бога отца, Бога-сына и Бога – святого духа, который обернулся Сатаной.

31

После отца, бабушка со стороны матери господствовала в моем зажатом ее твердой рукой детстве. Это она вырвала нас с места и заставила переехать в Наумбург на реке Зале. Там одно время стоял ее дом после ее замужества.

Некоторые из почтенных персон города считали за особую честь посетить ее, в то время как моя мать была оттиснута в сторону.

Лишь один раз, не прислушались к мнению бабки, когда дед по материнской линии пастор Давид Олер, наиболее влиятельная фигура в наших с сестрой детстве и юности, у которого мы часто проводили каникулы, перевел меня из общинной школы в частную.

"Этот ребенок даровит от рождения, – кипел он всю долгую дорогу. – Он достоин того, чтобы ему дали отличное образование".

Дедушка Олер был пастором старого типа: заядлым охотником, книгочеем, собравшим в доме большую библиотеку, был музыкально одарен. Его церковный приход напоминал ферму. Несомненно, он был больше фермером, чем пастором. Здоровье у него было отменное. У него было одиннадцать детей. До последнего дня своей семидесятидвухлетней жизни он исполнял долг пастора.

Он принадлежал к той удивительной когорте священнослужителей, которые при всем своем благочестии отличались трезвостью, мечтательностью и неистребимым юмором, как Джонатан Свифт со своим Гулливером и Лоренс Стерн со своим Тристрамом Шенди.

Книги Священного Писания были моими книгами в детстве.

По ним я научился читать и писать. Этому тексту я обязан своей отчаянной привязанностью к музыке.

Я зачитывался этими Книгами.

Я фантазировал по их сюжетам, до того, как мог обратиться к другим книгам.

Естественно, я был обязан их читать, но не помню, чтобы хотя бы один раз они мне наскучили и надоели.

Привязанность моя к этим Книгам и религиозным праздникам снискала мне прозвище "маленький священник" среди детей нашего квартала.

А так как наш отец-священник пользовался невероятным преклонением со стороны домашних, мне понадобилось много времени, чтобы понять, что эта кличка была мне дана отнюдь не из преклонения, а в насмешку.

Недостаточно было простых слов, чтобы застолбить то главное и немногое, открывшееся мне в эту полосу времени. Необходима была чеканная медь латыни, от которой позднее мы, филологи, дохли, как мухи, но именно ею закреплялась вечность на мемориальных плитах.

Я вскакивал с постели, мой сон прорезал трубный глас Ветхого Завета, в котором были записаны первые десять заповедей на Скрижалях, и последние, что загремят рогом в день восстания мертвых, и в этот миг не пробужденными таились в пыльном молитвеннике у моего изголовья.

Как считает большинство клятвенных атеистов, их скептицизм в отношении веры возник в родительском доме, в котором царила религиозная нетерпимость.

Со мной было абсолютно не так. Я принимал с открытой душой этот глубоко религиозный дух нашего дома. Вера ни на миг не отступала от меня, оставив во мне следы и ту атмосферу, которая была моим дыханием.

Бог мог легко восприниматься как член нашей семьи – отдаленный, как дед Олер, и далекий от его шуток по Его поводу.

В десять лет я начал писать стихи. До двенадцати лет я написал не менее ста стихотворений. За неделю до отъезда со своим мужем Бернардом Фёрстером в Парагвай, сестра показала мне некоторые из этих стихов.

Я кинул лишь взгляд на них и не мог поверить, что был таким тусклым и банальным. Если бы она дала мне положить на них руку, я бы их уничтожил. Но хитрая Элизабет вернула их в чемодан.

"Они мои", – сказала, – не помнишь? Ты написал их мне. Это всё, что мне осталось от твоей любви".

Кажется, именно, тогда, в первый и последний раз прозвучало это признание в запретной нашей страсти, связывающей любовь и смерть, ведь в ту ночь нашего первого падения умер наш младший братик Йозеф. Это была еще одна мечь мне за мою дружбу с Лу Саломе, которую сестра никогда мне не простила.

Первая же смерть, которая отпечаталась в моей памяти – смерть отца.

Вторая – маленького двухлетнего братика, который так, по сути, не познал вообще жизни.

Третьей и четвертой были смерть тетушки Августы и бабушки Ницше.

Осталась лишь несчастная тетушка Розалия, последний осколок старшего поколения. И вот тогда моя мать начала задирать нос. Именно, тогда я уже ясно понял, что ненавижу ее.

Мне еще не исполнилось шести лет, когда весной тысяча восемьсот пятидесятого года наша семья, мать и мы, двое детей, перебрались по настоянию бабушки в город Наумбург, пленивший меня духом средневековья, застоявшимся в очертаниях домов и, главным образом, церковью, и довольно скоро обнаружившийся благословенной тишиной и отчаянной скукой.

В том же году меня определили в мужскую народную школу, в которой с первого дня я замкнулся в собственном одиночестве и редко с кем разговаривал, тем более, сближался. Уже тогда, в таком нежном возрасте, я предчувствовал, что такая отчужденность и замкнутость будет сопровождать меня через всю жизнь.

Учиться мне нравилось, и я корпел над учебниками и тетрадями далеко за полночь, а ведь вставать надо в пять утра и бежать в гимназию.

Уже в те дни музыка приковала меня к себе, как каторжника к галере. Гендель, Бах и Бетховен завлекали меня, звучали во мне днем и особенно ночью, вгоняя в бессонницу, и были мгновения, когда они казались мне вечным моим проклятием.

32

Помню, что в то время меня начали мучить глаза. У меня появилась привычка тереть их пальцами. Начались сильные головные боли.

Это был первый опыт трудностей, которые жизнь поставила передо мной.

Тогда же я увлекся мифами древней Эллады и начал вести дневник, что раньше не казалось мне необходимым.

Теперь головные боли и позывы к рвоте я объяснял скрытым в моем теле буйствующим богом Дионисом. Ангельское пение, возносящееся к куполу церкви, принималось мной вторжением умиротворяющего Аполлона, вызывающим слезы.

Может именно тогда в моем сознании смутно забрезжила идея двух начал – аполлонического и дионисийского?

В то время мне казалось, что в этом много ребяческого. Обычно в зрелом возрасте видишь себя – ребенка или юношу, абсолютно обособленного от себя, взрослого. У меня же, по-моему, все осталось и даже обострилось, то ли вечно возвращалось, то ли никогда и никуда не уходило.

Увлечение Вагнером, прилипшее ко мне в возрасте семнадцати лет, было подобно эпидемии. Честно говоря, я не могу сказать, что по сей день сумел от него излечиться.

Два больших события в моей юности предстают передо мной.

Первое – это потеря веры.

Второе – подозрение, которое начало меня изводить, что написанные мной стихи не созданы из вечного материала. Мне трудно сейчас определить, какое из этих двух событий привело меня к более страшному разрушению в моей жизни.

Место моей религиозной веры никогда не заняла иная вера, достойная быть отмеченной. В отношении моего литературного величия, я также немало согрешил в своих преувеличенных претензиях и самозванстве.

Боль, к которой нельзя привыкнуть, была затяжной, и, казалось мне, возникала при мысли о Боге. Он не то, что наказывал болью, но пытался этим привлечь мое внимание к Своему одиночеству и вызвать жалость не к Себе, а к Сыну, которого Он же отдал на распятие. Последнее зарождало во мне неповадные мысли, которые я отгонял от себя усилием боли.

По сей день я отчаянно пытаюсь воспоминаниями детства проложить просветы в реальность, испытывая смертельный ужас от ощущения надвигающегося очередного приступа безумия.

Я цепляюсь за воспоминания детства, пока не наткнуюсь на наши запретные игры с сестрицей, и мгновенно срываюсь во тьму с рвотой и головной болью до потери сознания.

Приступ начинается беспокойством, страхом потерять сознание, наплывающей от низа живота темнотой, почти слепотой.

Еще не осознавая, что происходит, я ловлю себя на том, что принимаю позу человеческого зародыша – клубком, прижимая колени к голове, и вся моя жизнь возвращается целиком – вечным возвращением момента, когда я был выжат на свет Божий.

Все окружающее расплывается. Обруч боли, окольцовывающий голову, резко и явственно ощутим. Но это не мешает ясности мысли, неизвестно откуда возникающей. Казалось бы, все эти болезненные смещения должны ставить под вопрос глубину и трезвость мысли. Но они непривычно ясны, хотя в первый миг воспринимаются как нереальные.

Внезапно возникает укоризненное лицо Мамы в тот давний миг, когда мне исполнилось девятнадцать лет, и я впервые напился. И тогда я сумел все испортить письмом к матери, умоляя, не рассказывать всем окружающим об этом. До такой степени я был привязан к ее юбке.

– Мама, я пьян, – сказал я при виде моей достопочтенной матушки Франциски. В тот миг она показала мне воплощением Святого Франциска из Ассизи. У нее, ведь из-за моих слов могли выступить стигматы распятия.

Ночь под звездой проклятия

33

Ночь, когда умер мой братик Йозеф, десяти месяцев от роду, была очень холодной. Меня просто трясло мелкой дрожью. Вероятно, я был простужен. Мама пыталась уберечь нас от ворвавшейся в дом беды. Но запах лекарств, тающего воска свечей, ладана слабо гулял по всему дому. Изредка, из-за распахивающейся на миг двери доносились стоны и хрипы Йозефа.

Пять месяцев назад, в последний день июля, умер отец, мне было пять лет без трех месяцев, но его хрипы и стоны все еще стояли в моих ушах.

В эту же студеную ночь в доме стояла подозрительная тишина, и незнакомый запах чего-то неживого шевелил волосы. Мне было шесть лет, два месяца и двадцать дней. Всего четыре

дня назад мы встретили Новый, тысяча восемьсот пятидесятый год. Сестренке и вовсе было почти три с половиной годика и неделя.

Впервые в короткой своей жизни я познал прелести бессонницы, которая в будущем станет неотъемлемой частью моего существования.

Сестренка моя вообще была менее впечатлительной, и достаточно спокойно воспринимала всё, что происходило в нашем доме, но и ей было в эти минуты боязно и холодно.

И я внезапно ощутил прикосновение ее горячих ручек к моим бедрам, и тонкий ее голос пожаловался на холод. Она почти по-змеиному вползла ко мне под одеяло.

Я не почувствовал никакого испуга. Наоборот, по всему моему телу разлилось тепло ее рук.

В следующий миг все же пришел испуг от еще непонятной, но похожей на нежность тяги к ее телу, и в то же время отчуждению, граничащему с пробуждающейся враждебностью.

В последующие дни мне вернулся крепкий сон, каким только в раннем детстве спят: со всех ног.

Но стоило ей проскользнуть в мою постель, как ее маленькие толстенькие пальчики явно заложенным в нас инстинктом рукоблудия приводили меня в трепет и лишали сна на долгие часы.

Позднее, в школьные и студенческие годы, я пустил по кругу однокашников шутку, мол, девочки занимаются рукоделием, как мальчики – рукоблудием.

Наши с Элизабет ночные похождения начали входить в привычку.

В тот же год мы переехали в город Наумбург, и меня определили в школу для мальчиков.

Честно говоря, я понимал пагубность нашей возни с сестренкой, но уже не мог от этого отказаться. И все же, в подсознании я даже на миг не ловил себя на том, что сестренка вгрызалась, как мышь в мою жизнь, и эти ощущения открывают во мне, ребенке, то, что должно было обнаружиться при возмужании, когда мой Приап вскакивал при каждом прикосновении к любому предмету. При этом я испытывал не совсем понятный, сладкий стыд. Она открыла во мне те ощущения, к которым я должен был прийти собственными силами в юности.

Полного освобождения от вторжений сестренки Элизабет я достигал во время школьных каникул, когда мы гостили вместе с ней у деда Олера и бабки в Побласе, и спали в разных комнатах, в разных частях дома. Эти каникулы всегда казались мне слишком короткими.

Чтобы отбить чувственные атаки сестренки, я пытался обратить ее внимание на литературу, музыку, философию, на обсуждение всего этого.

Но диалог, да еще философский, вообще находится далеко за пределом любой женщины. Что же касается бесед на ее бытовые или *любовные* темы, к ним я так и не смог приблизиться.

Смерть моя не приведет к победе над жизнью, но эта исповедь даст мне некий элемент бессмертия, ибо я все же осмелился сорвать покрывало со Святого святых и показать, что король-то гол.

Я напуган сном жизни и не могу одолеть судьбу, предназначенную мне по другую сторону могилы. Главная моя забота отныне и до дня смерти – сохранить эти записи, чтобы они не попали в руки моей сестры, столь мне знакомые. Она утянула меня в соблазны страсти, окутанной покровом тайны, которым поддаются сыны человеческие.

В своей наклонности к кровосмешению, Элизабет была мне и матерью и отцом. Она могла уничтожить мой гений еще на заре юности, когда мне впервые стало ясно, что Бог мертв, и мы заключены в водоворот пустоты, переживаний хаоса, лишенных всяческих компромиссов.

Но око вечности видит все это, и пока я движусь из области времени по ту его сторону, в пустоту вечности, я сестрицу мою особенно порицаю, и это потому, что в том отчаянии, в котором я сейчас нахожусь, ее недостатки и ущербность обнажаются с большей остротой, чем ее добродетели.

Дикие демоны, что опустились на дно преисподней, охваченные соблазном кровосмешения, воспаряют к звездам.

Элизабет это тот симпатичный бес Виктора Гюго, наткнувшийся на Бога, лишённого всякой сдержанности и тормозов. Но и бес может отрастить крыло, ибо нередко мы ощущали себя существами, обитающими в небесах.

Быть может, я мог бы более осторожно и тонко выразить себя, извлечь идола из его гнезда без того, чтобы разбить и обгадить его красивый облик. Но я ведь "философ с молотом", бескомпромиссный враг культа идолов, более всего.

Ничего для меня не свято, даже мать и сестра. Жребий пал. Я захватил самую глубокую внутреннюю крепость моего "я". Трупы валяются вокруг разорвавшегося орудия, я ведь артиллерист по самой своей сути, и мертвые боги опадают с деревьев.

Никогда у меня не возникало подозрение, что моя интимная близость с сестрой Элизабет была известна кому-либо из членов семейства или тех, которые не связаны с нами узами крови, до того дня, когда умирающая тетя Розалия позвала меня к своей постели.

Я не удивился, когда она без лишних извинений попросила мою Маму оставить нас вдвоем наедине. Тетя Розалия всегда брала на себя добровольную роль моей воспитательницы в вопросе взаимоотношений между домашней жизнью и внешним миром.

В моем нынешнем положении я обязан, вопреки сопротивлению души, быть рядом с умирающей любимой тетушкой предельно искренним, как на исповеди.

– Ты знаешь, что я умираю, Фриц, – вздохнула она.

– Я полон надежды, что это не случится, дорогая тетя Розалия, – волнуясь, сказал я.

– Дорогой мой Фриц, прикрыв веки, я уже читаю слова Данте на входе в Преисподнюю – "Оставь надежду, всяк сюда входящий". Я умираю. И ты только ускоришь мою смерть, если потянешь меня во все эти глупости о том, что может быть, но быть не может. Надо смириться с тем, что жизнь моя приближается к концу, а твоя жизнь вся – перед тобой. Понимаем ли мы друг друга?

– Да, тетя Розалия.

– Я хочу, чтобы ты знал, что я оставляю тебе значительную часть моих денег. Это может спасти тебя от бед.

– Спасибо, тетя Розалия.

– Не стоит благодарности, Фриц. После смерти твоего отца, ты остался единственным интеллектуалом в семье. Я думаю, что он ожидал от меня именно того, что я делала. Но я не поэтому тебя позвала.

В голосе ее ощущались нотки, не предвещающие ничего хорошего. Я нагнулся к ней и уставился в нее взглядом.

– Тебе понадобится все твое мужество – спокойно высидеть и выслушать мои слова до конца, – начала она, – и ты хорошо сделаешь, если будешь слушать и молчать. Нет смысла отрицать или спорить, Фриц, ибо то, что я хочу тебе сказать – факт, и будет лишним – требовать от меня доказательств. Я слаба, ты же не захочешь лишиться меня остатка сил. Слушай внимательно, Фриц. Уже много времени я знаю все, что происходит между тобой и Элизабет.

Несмотря на то, что я мог себе это представить, я чуть не упал со стула, услышав то, что прозвучало из ее рта взвешенно и обдуманно.

– Открыла я это случайно, Фриц, – продолжала она. – Я не шпионила за тобой. И не кипятись, я не собираюсь давать тебе урок нравственности. Несколько раз я порывалась поговорить с тобой. Чувствовала, что это мой долг, как взрослого человека, но не знала как. В определенном смысле я шпионила за тобой, ибо с момента, как мне стало ясно, в чем вы погрязли, не было у меня выхода по ряду причин, попытаться узнать, избавились ли вы от ваших отношений или нет. Вы расставались на достаточно долгие сроки, но каким-то образом, когда один

из вас находил возможность, вы сразу же возвращались к этому. Я обещала, что не буду читать вам мораль. Но я не могу сдержаться от того, чтобы сказать, что это навредит вам обоим.

Я не издавал ни звука, чтобы ее не оборвать.

– Это правильно, что ты молчишь, Фриц. Действительно, ты ничего не можешь добавить или убавить к тому, что я видела своими глазами. Есть в языке слова, осуждающие этот позор отношений между братом и сестрой, и целый ряд таких не менее резких осуждающих слов. Я люблю тебя, как всегда, Фриц, и возлагаю на тебя большие надежды. И еще одно хочу сказать. Если ты продолжишь эти запретные отношения с сестрой, это будет спекуляцией твоим человеческим духом. Прекрати это.

Она в этот миг совсем обессилела. И когда она подняла руку в сторону двери, я понял: она дает мне знак – уйти, что я и сделал.

Поразило ли меня, что тетя Розалия все знает?

Больше этого меня волновало, знает ли моя мать?

Знают ли дед и бабка?

А как быть с моими однокашниками, от которых не могло укрыться, как Элизабет относится с нетерпением к каждому моему слову?

Знал ли антисемит Фёрстер, муж сестрицы? Может быть, именно это нарушило его душевное равновесие, вогнало в страх и привело к умопомрачению в Южной Америке?

Может, он узнал правду и решил наложить на себя руки?

Служка тетушки Розалии за нашими с сестрой интимными отношениями была достаточно тщательной, чтобы понять, что до моей поездки на учебу в Пфурту, руки тети не столько шли за мной, сколько за моей сестрицей.

И все же в эти минуты, в палате дома умалишенных, я пытаюсь самому себе найти оправдание. Опять меня, жаждущего женщины, посещает сладкое чувство вины в нарушении запрета на кровосмешение, которое разрушает душу, но обостряет интеллект. В этой точке встречаются разумный Аполлон и ничем не сдерживаемый Дионис. И я, "маленький священник", знавший наизусть тексты Священного Писания, наткнулся в обход этих текстов на мифологию Греции, определившей мой путь к столь ранней профессуре греческой филологии и мифологии, которая без обиняков, как бы осуждая, оправдывала грех кровосмешения, один из самых страшных в Библии. Может, именно отсюда еще смутно проступала идея противостояния и слияния Аполлона и Диониса?

Но служит ли мне оправданием циничное для всех обнажение тайн плоти, приведшее к гениальному умозаключению и губительной для меня крайности – отрицанию Бога?

Испугавшись, я потом сузил отрицание лишь христианского Бога, противопоставив Ему себя – Фридриха Вильгельма, названного все же по имени кайзера, ибо родился я в день его рождения. Несомненно, и лютеранское ханжество Мама привело меня к incestу.

О, боги, не отсюда ли возникали кони, жаждущие меня сжить со света, не отсюда ли выросли и корни моего безумия?

34

Солнце, люющее в палату через переплеты окна, начинает припекать точно так же, как на возникшей сейчас перед моим взором дороге из Наумбурга, по которой я ехал в свою новую обитель – Пфорташуле, мужской интернат, предвкушая начало новой главы моего существования. Осенью тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года Мама получила письмо: меня приглашали продолжить обучение в этом престижном интернате.

Как я радовался осуществлению давно мной задуманного бегства из ханжеского дома, от маминой юбки и грехов детства, впервые в моей начинающейся жизни, Невнятное скрытое блаженство, охватывало меня в спальне этого закрытого интерната, знаменитой Пфорты,

расположенной по соседству с Наумбургом, филистерским городом Саксонии, куда из Рёкена переехала наша семья.

Помню, какое незабываемое наслаждение я испытывал, работая в тиши этих стен над сочинением о почти никому тогда не известном поэте Гёльдерлине. Ведь еще совсем подростком, но еще уже пробуждающимся наитием я ощущал, насколько этот поэт близок мне своими стихами. Он воспевал слияние человека и природы в античном духе, противопоставляя это разладу между людской массой, лживо называемой обществом, и личностью, ощущающей эту ложь и замкнувшейся в себе. Мелочность окружающей жизни слишком рано не давала мне покоя, и потому смутно влекли меня такие понятия, как История, Судьба, брезжащие в моем сознании, как некие столпы, на которых держится мир.

В апреле тысяча восемьсот шестьдесят второго года, в восемнадцатилетнем возрасте, я написал два философско-поэтических эссе – "Рок и История" и "Свобода воли и Рок". Могу поклясться, что в этих работах, как ростки в том весеннем месяце пробуждения жизни, проклюнулись чуть ли не все идеи будущей моей философии, разработанной в моих книгах.

Ведь в Пфорташуле делался упор на изучение греческого языка и латыни и, в намного меньшей степени, на немецкую классику. Школа воистину была книжным раем. Мы словно бы жили и вдыхали воздух Древней Эллады и Рима, а также Германии времен Гете и Шиллера, хотя за стенами вершилась история современной нам Европы.

Вероятно, именно там коснулась меня крылом столь ранняя судьба – стать профессором классической филологии, поскольку из всей программы данного заведения я наилучшим образом осваивал не только знания, но и дух этих древних великих цивилизаций.

Действительно ли я так сильно разволновался от этих воспоминаний, или это солнце полдня, осязаемого стрелкой равновесия жизни, вбирает в себя тени?

Откуда же этот наползающий на сознание мрак?

К горлу подкатывается комок. Еще миг, и горло мое исторгнет рёв.

Но ведь вокруг меня полное безмолвие. Почему же бегут санитары, заворачивают мне руки за спину, и сестрички касаются моего тела знакомыми мне ручками, втыкая иглу ниже спины.

Меня охватывает глухая удушающая тьма, затем становится сумеречно. У ног моих разверзается бездна, которую я силюсь перепрыгнуть.

Доживу ли до следующего просветления?

Прихожу я в себя от звуков голоса чудесного доктора Симховича, единственного в этом вертепе моего спасителя, и от того, что он произносит:

"Такой мощный ум, как у Ницше, не может не прорваться сквозь пелену безумия. И чем страшнее его погружение в животное состояние, тем тяжелее и острее выход из него".

Глава вторая

Белокожая графиня и смуглая леди публичного дома

35

Меня вырвали из неглубокого и, как всегда, беспокойного сна, визг и крики невидимых ведьм, справляющих шабаш на Брокене, филиалом которого, несомненно, является этот дом умалишенных.

Вообще крики часто сотрясают стены этого богоугодного заведения, куда меня заточили Нимфы – мать Франциска и сестра Элизабет, с раннего детства откликающаяся на кличку "Лама". Я пытаюсь отмахнуться от этих привидений моей души, но метла одной из ведьм явно хлещет меня по лицу.

Отворачиваясь от метлы, я жмурюсь на раннее солнце, скупно заглядывающее в окно палаты с явно добрым намерением вернуть меня к чувству бесшабашности десятилетнего мальчика, не замечающего солнечных пятен на листе деревьев, а с пыхтением и натугой борющегося со сверстником по дороге в городскую церковь. День Вознесения сына Божьего на небо еще ничего не сулит моей дремлющей душе.

Ничего не подозревая, я внезапно, остолбенев, слышу потрясающий взрыв голосов, воистину небесное звучание хора. Я отдаюсь этой мощи многоголосия, явственно впервые ощущая, что и моя душа уносится в заоблачные выси.

Я с тоской и завистью слежу за ангельским хором таких же, как я, мальчиков, возносящих Иисуса на небо и самих словно бы возносящихся вместе с ним.

Думаю, в эти мгновения кончилось мое бесшабашное детство.

Таясь от шумной ватаги моих сверстников-пятиклассников, я закоулками добираюсь до дома, и тут же, радуясь каждому чистому аккорду, извлеченному из рояля и морщась от любого фальшивого звука, начинаю подбирать по слуху услышанную песнь Ангелов.

Я неутомим в этом деле. Меня лишь удивляет невероятное терпение домашних. Они не одергивают меня, не укоряют, не отчитывают даже тогда, когда я начинаю жаловаться на частые головные боли.

Самого меня успокаивает, что боль возникает лишь после того, как я прекращаю игру, скорее оттого, что от напряженного всматривания в ноты начинают слезиться и болеть глаза.

Вовсе не хвалясь, могу сказать, что я достаточно легко и быстро научился играть с листа.

Страсть к музыке для меня лучшее лекарство, пока врачи не освобождают меня на некоторое время от учебы, обнаружив болезнь глаз и головную боль, уже становящуюся хронической.

Музыка своим ритмом приводит меня к стихосложению. Как запойный, я сочиняю стихи и в детском высокомерии не вижу ничего особенного в стихах Шиллера и Гёте.

До начала учебы в Пфорте остается еще некоторое время, и наши воспитатели слегка ослабляют казарменный поводок, на котором будут держать нас, и пока разрешают длительные прогулки.

Пыльный шлейф печали

36

За пределами Пфорты я, вместе с однокашниками, окунаюсь в пока еще невинный разгул опьяняющего женского окружения, возникающего в самых неожиданных местах.

Непостижимость проступает в нежных овалах совсем незнакомых и не примелькавшихся девичьих лиц. Очарование таится в их чуть припухлых жаждущих губах, к которым льнет необъятное голубое пространство с дымчато-размытыми краями.

Они сводят с ума своей беззащитной плавностью и неосознанным упрямством в очертаниях крыльев носа и подбородка.

В независимой заинтересованности, с которой это существо проплывает мимо тебя, скрыто опьянение такой силы, что любой крепкий напиток кажется просто водичкой.

Атмосфера несбыточных чаяний вызывает острую неудовлетворенность и ущербность, страсть перегорает в ненависть, и все это бурлит пеной на пороге чего-то сильного, стремящегося сбить меня с ног. Оно неотвратимо наплывает будущим.

В свои четырнадцать лет я давно, с нарастающим страхом, ощущаю приближение какого-то душевного, то ли подъема, то ли провала, заранее зная, что окажусь беспомощным с его первыми подземными толчками.

И вместе с этим возбуждением всплывает, – стоит мне очутиться в тишине и покое – таящаяся на дне души печаль. В ее слабом, но не исчезающем свете все мои импровизации на фортепьяно с ловлей минутного восторга в окружающих лицах при полном забвении собственного, видятся непрерывным и неудачным побегом от самого себя и первым приближением головной боли.

Пытаюсь спастись тем, что бросаюсь в другую крайность: целыми днями пропадаю в библиотеке, перескакиваю с Шекспира и Руссо на Макиавелли и Шамиссо, с Петефи на Пушкина и Лермонтова. И все же любимым моим поэтом становится Байрон.

Бросаюсь или разбрасываюсь?

Пугающая самого меня жадность заставляет проглатывать книги по эстетике, истории литературы. Библейские тексты наползают памятью раннего детства. Я все больше втягиваюсь в античные трагедии. Потрясение трагедией Эсхила "Плакальщицы" (Хоэфоры) приводит к тому, что я почти с одного раза запоминаю ее наизусть, и мне кажется, что по этому поводу хоэфоры оплакивают меня.

Они приходят в мои юношеские сны, где я, в отличие от Ореста, и сам рыдаю над собственной судьбой, проклиная бога Аполлона, заставившего меня убить свою мать, убившую моего отца. Я еще тоскую по сестре, и потому мне симпатична сестра Ореста Электра.

Не отвертеться мне от Эллады, и я решаю избрать филологию. Меня влекут тайны древнегреческого языка, и филология мне кажется ключом к трагикам, поэтам, философам древней Эллады.

И все же печаль не отстает от меня. Она тянется за мной через сны пыльным шлейфом. Края его размываются и утягиваются в ту могильную яму, из которой во сне возникает отец и уносит братика Йозефа, как в изгиб прогулочной аллеи, такой дотошно знакомой и навек таинственной. Сквозь могильно острый запах цветов на клумбах, сквозь дремотно сладкую жалость к самому себе видятся мне проплывающие мимо девичьи фигуры.

Но иногда, потрясенно очнувшись, я понимаю, что оно существует рядом – нечто, сотканное из мягкости и света, беззащитности и чистоты. И оно, равное вере, на миг коснулось меня.

Так среди отчетливо ясных или назойливо бурных дней юности прорежется вдруг нечто, бескорыстно внимающее тебе тихим солнцем, высокими облаками, чистыми тенями. И это будет то истинное, печальное, непостижимое, ради чего вообще правомочна жизнь.

Так возникает передо мной – некое сногшибательное событие моей жизни.

И в эти тяжкие часы моего сомнительного существования в доме умалишенных, я считаю, по какому-то все же не отстающему наитию моей души, что именно это событие заложило основу моего существования, или, вернее, заложило мою душу Дьяволу, имя которому – двусмысленность.

Два лика: темный и светлый

37

Как в бреду, после употребления опиума, два существа возникают из моего ребра, два женских лика. И выражают они угрожающую расположенность ко мне.

Лик темный наносит мне удары, в то время как лик светлый напоминает мне, что за вождением, облекшимся в облик ангела, скрывается примитивный черт, насмехающийся над снами юности, возникающими как сцены горячей любви.

О, я уже знаю: похоть учит меня больше, чем все науки, литература, и горы проглоченных мною книг.

Эти множество раз перелистываемые, затасканные и затисканные жирными пальцами листы книг ничего не стоят в сравнении с лживыми поцелуями Цирцеи из мифов об Одиссее.

В предчувствии женских тайн в свои четырнадцать лет, я ощущаю на своих губах губы этих дочерей Гелиоса, подобно Одиссею, хотя, в отличие от него, я-то уже знаю, что такая пассия может и меня превратить, как всех своих любовников, в свинью.

Этакая пассия, настоящая графиня, входит в мою жизнь в дни учебы в Пфорташуле, в тысяча восемьсот шестидесятом году.

Мне шестнадцать лет.

Кажется, совершенно случайно, даже не помню где, мы вступаем в разговор, вовсе лишенный какой-либо романтики. Тема явно сближающей нас беседы – филолог Гумбольдт, который воистину совершил переворот в германском образовании. По молодости и наивности я думаю, что она разделяет мое восхищение Гумбольдтом.

Но в шестнадцатилетнем возрасте я еще не догадываюсь, что мышление женщины связано с ее чревом, и она даже в Гумбольдте найдет повод уравновесить огонь своей половой страсти. С тех пор, как ей открывается моя любовь к Гумбольдту, к музыке Шумана и одиноким прогулкам на природе, оказывается, что графиня тоже по-настоящему любит и Гумбольдта, и Шумана, и прогулки на природе.

Обычно она гуляет с охотничьим псом. И завершаются мои одинокие прогулки по лесу, когда я, наслаждаясь одиночеством, люблюсь долиной, лежащей у моих ног.

Пес без труда берет мой след и находит меня, как бы тщательно я не скрывался.

Обнаружив меня, эта Нимфа, забыв достоинство и неприступность истинной графини, с остервенением пса набрасывается на меня, мгновенно овладевает моим телом и духом, и, не давая даже передохнуть, тут же опрокидывает на скалу.

Мне-то всего шестнадцать лет. Я ведь, кажется, еще безус.

Подумать только – Ницше без усов. Вот уж кто обрадовался бы, так это Стриндберг. Чего вдруг всплыло его завистливое августейшее имя – Август? Ах, да, ведь лишь вчера принесли мне от него письмо. И я, как считают врачи, сошедший с катушек, могу воспроизвести его в темноте, отчетливо вижу перед собой строчки его письма.

Более всего его вывели из себя мои крестьянские усищи.

38

Графине тридцать лет.

Свою страсть к прелюбодеянию она несет со спокойствием, достойным уважения, испытывая незрелость моей юности с неким кокетливым страхом неискушенной любовницы.

Но с большим умением она вытягивает из меня всё усиливающиеся взрывы энергии. Я подобен буйному козлу, рвущемуся по следу аристократической лани. Она же наслаждается своим грехом, который возвышенно очищается солнечным светом прекрасного дня, прохладой окружающего леса и холодком ее высокомерия.

Прячась в тени вяза, вне нашей общей спальни интерната, она свистела странным птичьим свистом, который как бы выводил ее из человеческой среды. Он казался мне однотонным звуком из обожаемой мной и великой вселенской музыки Генделя.

Характер мой и мое отношение к половой любви не позволяют описывать ее в стиле Манон Леско. Я не собираюсь соревноваться с аббатом Прево и даже с высоко чтимым мной Стендалем, слова которого о том, что если до сорока лет комната мужчины не наполняется детскими голосами, она наполняется кошмарами, я тогда естественно пропустил мимо ушей.

К моему сожалению, и за ним грешок написания "новых романов", рассчитанных на читателя, который листает страницы, вообще не включая разум. Я считаю ниже своего достоинства и интеллекта – будить у читателя похоть.

Однако графиня же действительно по сей день является скрытым источником моей жизни, моего разума и эмоций. Она более чем просто мелькнувшее в юности любовное приключение, она – моя живая судьба.

Когда я нуждался в опиуме, чтобы успокоить страдания тела, она вторгалась в мой сон любовной сценой, той неотразимой "темной со своим влекущим отверстием", Венерой Шарля Бодлера, дьявольской разрушительницей в течение поколений, манящей божественной притягательностью.

Я вижу ее полные бедра, ее ноги, обвивающие меня своей трепещущей жадной наготой. Крепкие, белые ее груди, прижимались к моему возбужденному корню, до его полного падения, подобно карточному домику, грудой обломков тела, души и духа.

Время от времени это посещает меня, как возвращающийся кошмар.

Идею "вечного возвращения того же самого" я почерпнул у графини.

Ведь вождление возвращается старым, как мир, но всегда кажущимся по-новому событием.

Графиня, эта сатанинская Венера, задумала получать наслаждение из самых невообразимых безнравственностей, и включила меня в свои опыты, как объект своей похоти.

Она доводит меня до безумия на заре юности.

И только мои интеллектуальные претензии и жажда культуры действуют во мне как противовес ее неутомимой страсти нимфоманки, неустанно изобретавшей буйные и неожиданные формы любви.

Вместе с наслаждением, меня мучают угрызения совести: я ведь увел ее из супружеской постели.

Я, юноша шестнадцати лет, рея над сухими костями ее супружеского счастья, кинулся на нее жестоким ястребом и выкинул из гнездышка ее супруга, как в новелле Проспера Мериме. Никуда не денешься, меня всегда вдохновляют всяческие литературные сюжеты. Сказывается, не менее чем вождление, болезненная страсть к чтению.

По сути же, не был я никаким ястребом, а скорее, мышонком на дне пивной бочки. Я поистине одержим видом ее нагого тела, и это просто лишает меня возможности выкарабкаться

из этой бочки. Это ударяет меня током, выносит, как отвес, вверх, и возносит на ее высокую кровать, окруженную занавесом, который должен скрывать от нее самой мои совестливые и все же неотрывно глядящие на нее глаза.

Я чувствую себя не столько стыдливым мышонком, сколько напуганным, как Кант от насквозь пронзившего его взгляда уважаемой вдовы в салоне.

Графиня же раздувает меня в слона, а сама сжимается, как бы пытаюсь охладить меня выражением страдания, когда я угрожаю задушить ее за то, что она унижает мое мужское начало, как раздавленного и оскорбленного прислужника Смердякова у Достоевского.

Страдающим, по-юношески срывающимся голосом я кричу: "Я тоже человек".

Пытаясь вернуть себе человеческое достоинство, я рванулся в комнату с вещами для верховой езды, то ли ее, то ли ее мужа, схватил плетку верхового, лежащую рядом с сапогами. Я побил ее.

В ослеплении, потеряв бдительность, я не учел отклонения и странности этой Венеры в стиле Бодлера. Удары плетки лишь усиливают ее похоть, с одной стороны, и жажду тела пострадать – с другой.

Это опьяняет ее чувства от наслаждения, получаемого ее обнаженным телом, изгибающимся, как тело испуганной кошки, боящейся насилия озверевшего юноши.

39

Именно графиня научила меня разнице между любовью и необузданной страстью, посылающей враждебные стрелы в нагого врага неожиданным обхватом ног и бедер.

В тот момент, когда я избиваю ее плеткой, у меня рождается мысль, которую я позднее записал: идя к женщине, бери с собой плетку.

Именно эти, обращенные к ней, слова вырываются у меня.

Но таковы отклонения в природе женщины, что глумление не подавляет ее сексуальные желания, а наоборот, еще больше ее возбуждает.

Инстинкт смерти силен так же, как инстинкт жизни, и женщина, несущая жизнь в своем чреве, способна превратить и смерть в спектакль с фейерверком, рассыпающимся оттенками разных цветов – брызжущими в ночи на обнаженном теле жизни.

Когда она впервые заставляет меня раздеть ее, погасив свечу, я ощущаю, как жизнь захватывает меня железными клещами, пока нижнее белье спадает с ее тела, одно за другим, как лепестки огромного, ныряющего в темноту, подсолнуха.

Графиня белым пятном светится в моих объятиях, как манящие глаза филина, янтарные, желтеющие бледным сиянием, в котором восьмая часть смерти. Она обнажает перед моим взором наготу своего тела с такой отдачей, что не может подкупить свою лютеранскую совесть без того, чтобы заставить меня ползти к ее ногам за то, что я осмелился обнажить ее омерзительную, как и ее прелести, душу.

Помнится мне ее последняя попытка ускользнуть от опасной вседозволенности, с которой она превратила любовь в насмешку над жизнью, сделав ее цветком зла Бодлера, корни которого, согласно мудрому иудейскому царю Соломону, посажены глубоко в смерти.

Школа-интернат в Пфурте иногда используется как монастырь.

Жилые помещения несут монашеский запах, вызывающий в памяти гнилые ароматы цветов на кладбищенских могилах.

В одну из ночей мой сосед по комнате уезжает проведать родителей в Лейпциге. Переодевшись в юношу, она проникает в мою нору и набрасывается на меня, спящего, с тумаками, орудуя каким-то тяжелым предметом. Я почти теряю сознание. Но она внезапно изменяет свой трюк. И ее страсть избить меня оборачивается пылающей в ней похотью – овладеть моим молодым телом. По Теккерю, самым жестоким палачом и диктатором женщины является сама

женщина: чрево ее – клубок паутины, втягивающий и опустошающий ее мозг и волю, накладывая космическую власть и подчиняя половому вождению, над которым она не властна, побеждая всяческие нравственные импульсы.

В дальнейшем графиня демонстрирует любовь, подобную той, которая открылась Святому Августину, после того, как он сбежал от женщин, соединился с Богом и нашел в пожилой Марии небесный образ во плоти.

Она оставляет меня краснеющим от стыда монахом, соединившись с Сатаной в пустыне. Любовь ее набирает силы Венеры, сбросившей с себя змея и ощутившей потоки Божественного духа, текущие по ее телу.

В течение последних месяцев моего пребывания в Пфорте она видится мне эллинской Венерой, сотканной из всего лучшего, без изъяна.

Она восходит к людям самой сутью жизни из моря, как Нимфа, белея своей наготой.

Но, в конце концов, крылья летучей мыши похоти покрывают тенью рай нашей любви, и возвращают все духи зла, превратившие небо нашего счастья в страдания ада.

Она берет на себя роль мужчины и наносит мне самый чувствительный ущерб в самое незащищенное место – в мое мужское начало.

Бесконечно нападая на меня своей похотливой страстью, графиня пытается кастрировать не только мое тело, но душу и дух, пока я не стану евнухом, полностью под ее властью. Она учит меня, что женщина должна командовать мужчиной, изменив законы естества, не только во время соития, но владеть всем его существом.

Испытывая угрызения совести, а также под влиянием острого ревматического заболевания, которое показалось мне наказанием за мои любовные похождения, я твердо решаю не идти по стопам моего отца-священника и отказываюсь от теологической карьеры.

40

Спасает меня все углубляющаяся страсть к филологии и философии.

Три работы – "Фатум и История", "Свобода воли и Рок", "О христианстве" написаны мной в восемнадцатилетнем возрасте, несмотря на непрекращающуюся головную боль.

В течение двух семестров я изучаю теологию и филологию в Боннском университете.

О, боги, на календаре стоит дата: 15 октября 1864 года: мне исполнилось двадцать лет.

Я ощущаю боль в груди от внезапного ощущения бессмысленной траты времени жизни. Вновь накатывает головная боль.

Жажда знаний все же отгоняет от меня или, точнее, загоняет вглубь мои болезненные ощущения.

В июне я оказываюсь в Кельне певцом хора, участвующего в музыкальном фестивале. Приглашаю туда графиню.

Симфонический оркестр исполняет "Израиль в Египте" Генделя.

В этих концертах под открытым небом меня всегда потрясает резкое противоречие между разряженной в лоск публикой, расположившейся в своих креслах, с самодовольным видом вбирающей звуки музыки, и скоплением людей, толпящимся на обочинах поля. Это, в основном, бедняки, возчики, чернорабочие, старые проститутки, чьи руки протянуты к обрывкам звуков, словно это звучат молитвы, которые можно достать рукой. Молитвы летят на крыльях симфонии в сторону благодатных островов, о которых мечтает человек.

Речь ведь о Роке, и вот, один из французских Ротшильдов, явных, хотя, и дальних, потомков сынов Израиля, вышедших из Египта, является на концерт. Это приводит в волнение чувства графини сильнее, чем моя лекция о жемчужинах музыки Генделя.

Он же, вероятно, тоже положил на нее глаз, и, естественно, тут же приглашен занять мое место.

Так я вытеснен из почтенного круга, и оказываюсь среди униженных, и оскорбленных, и отверженных, в полной мере познав страдания сынов Израиля, харкающих кровью в Египте без всякой помощи от музыки Генделя.

Нет, я не испытываю никакой вражды к парижанину Ротшильду, который отнял у меня любимую графиню. Наоборот, я наполняюсь почтением к богачу, способному, как волшебник, успокоить волны ненависти и омерзения мира, которые заглушены волшебным шорохом его золота.

Пока чужеземец Ротшильд проводит время с графиней, я наблюдаю за одной из слушательниц Генделя, выглядящей как сестра-близнец смуглой проститутки из публичного дома в Пфорте. Эта потасканная Венера явно явилась в это людское скопление не из любви к музыке Генделя. Печать болезни лежит на всем облике этой жрицы любви, украшенной гниением, подобно Нане, героине романа "Нана" Золя.

В ту ночь, в приступе позора и собственного омерзения, я переспал с ней.

И теперь врачи дома умалишенных готовят патологические данные в отчете главному врачу, который взвешивает меня, подобно Яхве, на весах добра и зла.

Ханжеский конклав врачей видит во мне ужасный образец гения, сошедшего с ума, потому что я выступил против Десяти заповедей, и мне – отмщение середняков, восстающих против одиночек-гениев, которые будут судимы по масштабу этих середняков, по испытанным чудным правилам сброда.

Осенью следующего года внезапным, как всегда, потрясением, выбившим на время почву из-под моих ног, является открытие Артура Шопенгауэра.

41

В сентябре тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года я заканчиваю обучение в Пфорте и, сдав экзамены, возвращаюсь в Наумбург.

Еще до этого я принял решение продолжить учебу в Боннском университете, и по желанию матери записаться в университет на теологическое отделение.

Шестнадцатого октября, завершив небольшое путешествие по Рейну и Пфальцу, вместе с моим другом Дёйссеном, мы приезжаем в Бонн.

После почти казарменных порядков Пфорты нас полностью захватывает безалаберная студенческая жизнь, с обязательными пирушками и поединками на рапирах. Вокруг все ходят и гордятся шрамами. Но мне весьма быстро надоедают эти развлечения. Я ведь все же решил записаться на четыре филологических семинара к профессору Ричлю, который уезжает преподавать в Лейпцигский университет. Я следую за ним.

Параллельно учебе мое образование на ниве любви продолжается и в Лейпциге. Оно вносит глубокий раскол в мою молодую жизнь.

В Лейпциге моя похоть знания соединяется с галлюцинациями, связанными с женщинами, в которых я объединяю святых и жриц любви, как бы храня в этом дуализм апостола Павла в традициях моих отцов-лютеран, дуализм, который выражает раскол в самом обществе.

В стеклянной теплице графини в Пфорте я видел тропические растения, подобные сплетенным членам любовников – свивающимся в мощном соитии природы – космическом соитии земли и неба, слитом в похоти и приводящим в движение колеса мировой жизни.

Там, в стеклянной теплице, соблазнила меня графиня в первый раз.

Эта растительность, пестрая и сочная, возбуждает во мне желание внести все разбросанные прелести естества, данные мне Богом, в плоть женщины, таящие в себе все опьянениерая и ада. В стеклянной теплице я вижу всю жизнь, захваченную всеобщей похотью, в судорогах наслаждения.

В Лейпциге же мне становится ясно, что ученики колледжа перенесли поиски истины в трактиры и публичные дома, и что упражнения по совокуплению видятся им гораздо более важными, чем изучение теорий эстетики Аристотеля или воли как представления Шопенгауэра.

Под руководством графини я стал посланником Приапа, намного более опытным, чем большинство моих товарищей.

Да и могли ли они многому научиться в объятиях служанок, кроме обычных обнимок, подсмотренных в комнатах индусских и японских куртизанок, обученных тонкостям эротики, изучаемых ими с такой же тщательностью, как педантичные ученые изучают каждую ноту и знак в Священном Писании?

В публичном доме в Лейпциге я впервые познаю, насколько питомицы этого вертепа полярно противоположны графине.

Меня привлекает смуглая девица, на треть индуска, на треть европейская леди, на треть – азиатка. Аромат дальнего Востока идет от ее умощенного тела, наученного страсти традицией сотен лет до такой степени, что похоть стала выражением ее души, не знающей иного стремления, чем эротическое удовлетворение.

Она вовсе не подобна лилии темной Индии, которая встретила меня впервые в публичном доме в Кёльне.

Золотистая красавица, напоминает Лорелею из стихотворения моего любимца Генриха Гейне. Я пленен ею, как в студенческие годы был околдован рекой Рейн.

Подобно графине, этот смуглый восточный цветок превратил свою плоть в сосредоточие наслаждений. Но экстаз ее не сопровождается угрызениями совести, она безоглядно отдается страсти, свободная от чувства греха. Вину за гниение моих костей и мозга я возлагаю на эту красавицу из публичного дома в Лейпциге. Под покровом красоты она скрывала гниение, умертвившее Гейне и, по мнению эскулапов, умерщвляющее меня. В собственных глазах я вижу себя мертвым, занимающимся собственным телом, духом и душой, чтобы смотреть в глаза исследователей будущих смертельных случаев, которые будут судить меня согласно их устаревшим мнениям, и сочинят всяческие небылицы и байки о моих внутренностях, о "матрасной болезни" Гейне, обо мне – в могиле этого дома умалишенных. Обоим нам выпало стоять против космической иронии по имени Яхве, метко пославшей нас в объятия темной Венеры, влажной и возбужденной, и тут он стреляет в нас молнией сифилиса, уничтожающей тело, душу и дух за то, что мы совершили самое страшное из преступлений – преступление любви.

Многие из моих однокашников, жителей Франконии, одного из пяти герцогств Германии, были поражены той же заразой, но во время вылечились.

Я же со своим прометеевым высокомерием, фатальной запущенностью, наплевательством на свое здоровье, дал наркотику смерти накопиться в моем теле, и теперь воняю, как отходное место в нищем квартале, где проститутки шатаются по переулкам и мстят своим гневом городу, который обрек его бедняков нищенскому существованию и грязи.

Сифилис – оружие бедных против богатых, и вероятнее всего, я заразил этим и графиню, ибо второй ее сын, который, несомненно, являлся запретным плодом наших отношений, родился монголоидом.

Несмотря на то, что я сбежал из Пфорты в Лейпциг с чувством облегчения, я не смог вывести из моей крови ни графиню, ни смуглую леди.

Время от времени, когда у окна моего узилища садится белая птичка, являются мне мысли о белой графине и смуглой леди, которые разделили мой мир на белое и черное, так,

что слились в нечто серое и смутное, как наше время, рушащееся, рассыпающееся и агонизирующее.

Мой страх перед любовью, в сочетании с любовью к страху, укоренил в моей душе вкус ужаса, вынудил меня спасаться от ужаса наслаждений кровосмешения, чтобы тут же попасть в объятия двух проституток, аристократки и наделенной сифилисом смуглянки.

Расфранченные трупы, распускающие запах мускуса, черепа, обрызганные духами, скребутся, гримасничая, как сумасшедшие, в окно моей палаты. Это бесы, порожденные моим больным мозгом, кружатся в пляске привидений, вокруг белого обнаженного тела графини. Проникая с высот, принося к окну, они превращают это зрелище в культ полового буйства. И тогда полная противоположность графине – смугло коричневая азиатка, лишенная стыда в своей наготе, тянется к мужчинам, которые влекутся к ней, как мухи на мед.

Моей ахиллесовой пятой была графиня. Она представляет перед моими глазами легкомыслие и ветреность человеческой природы. Это заставило меня с течением времени отринуть во всех смыслах человека, и обратить свой взгляд на Сверхчеловека, который должен явиться в грядущем.

Волшебство графини – волшебство этого мира, как рассыпающаяся красота Венеры – охватило меня соблазном, перед которым невозможно устоять.

Беззаветно увлеченный Вагнером, я тут обнаруживаю, что Вагнер и жена его Козима являются частью этого мира вырождения и омерзения, от которых я пытался сбежать и спасти свою душу, ибо это, по сути, еще один симптом и синдром вырождения Запада.

Вагнер, как и Бодлер, порождает "новую дрожь", по выражению Виктора Гюго, дрожь, которая соединилась с ледяным объятием блондинки-графини.

Графиня пришла не из воображаемого мира, а из вечного мира сладострастия, и потому останется со мной до последнего дня. И будет преследовать меня по ту сторону могилы, если мы принимаем принцип Платона, что душа человека бессмертна.

Иногда я поражаюсь, была ли графиня вообще существом видимого мира или сотворена была из моей нужды покрыть кожей плоть моих диких отклонений.

Но я отчетливо помню тот день, когда шагал со сверстниками, взволнованный оргией прошедшей ночи, кричал и напевал, но и ощущал стесняющее сзади мое движение трением шерстяных кальсон. И тогда вырвался у меня громкий ликующий смех, высокомерный в моем смятении, и я знал, что графиня преследует меня в своей ненасытности, полная решимости уничтожить меня и приковать к ее желаниям и воле.

В итальянском кафе, где студенты постоянно препровожают время, она назначает мне встречу и сообщает, что стала вдовой.

Граф, которому надоело ее бесстыдное легкомыслие и измены, заперся в своей конюшне, поджег ее и пустил себе пулю в лоб. Я хорошо помню его, бородатого и ухоженного, выглядящего, как восточный паша, когда он важно восседал в кресле. Возвышаясь над столом, он обсуждал со мной вопросы философии, филологии, теологии, политические и воинские теории – вопросы, в которых я отлично плавал, а он проявлял полное невежество. Когда он обнаружил, что его молодая красивая и желанная жена, по сути, ненасытная блудница, подобно Мессалине, третьей жене римского императора Клавдия, смешивает свою аристократическую кровь с кровью мусорных ям такого, как я, рухнуло все его аристократическое высокомерие. Ему ничего не оставалось, как отомстить безумием – по традиции людей востока, носящих кинжал к дверям врагов.

Графиня пользуется редкими духами. Я вдыхаю их в себя, и все мое существо наполняется ароматом ее белого тела, облаченного в белый шелк, и светлых ее волос, собранных на затылке, над которыми витает белое перо, как символ моего духовного поражения.

Я поглощен ее глубиной, ее кричащей белизной, в то время как мир вокруг меня темнеет в сумерках идолов.

Раскинувшись нагой на своей постели, она требует топтать ее тело, обхватывает ногами крест-накрест мое тело, и с тупым выражением раздражается диким смехом.

Она рассказывает мне, что одним из ее любовников был епископ, который крестился каждый раз от ужаса, когда вторгался в ее тело. Я представляю, как в ее порочном мозгу рисовался лютеранский священник, которым можно развлекаться только потому, что он добавлял в ее похоть некий знак запретности, усиливающий остроту наслаждения.

Омерзение в мою душу к религии в большой степени внесли мужчина и женщина – графиня и ее епископ – оба живое свидетельство того, что христианство, отрицающее тело, ведет к болезненному отношению к полу, и религиозный фанатизм – к ханжеству, а ханжество – к половым отклонениям.

Христианский Бог, по сути, прикрытие Сатаны. В глубинах церкви Сатана находит своих самых ревностных фанатичных поклонников. Несмотря на то, что я созрел к восемнадцати годам, все же у нее были претензии к моим сексуальным способностям. Но я был достаточно зрелым, чтобы отнестись к ее словам в добром приятии – "Не всегда всё может быть совершенным, выше всех понятий". Как – в писательстве так и – в любви.

Я принимал уколы графини силой мысли, а не как неприятие и недовольство. И она привязывалась ко мне сильнее, чем когда-либо, найдя во мне некую новую меру эротики – похоть разума, которая, оказывается, может быть более чувственной и возбуждающей, чем похоть плоти.

Я беседовал с графиней о теологии, философии и музыке, и чувствовалось, что она интуитивно понимает все это. Это часто приводило меня к мысли, что женщина более понятлива, чем мужчина, ибо в своем незнании она соединена с космической мудростью природы. Я приглашал ее на концерты и спектакли, вернее, она меня приглашала, покупая билеты.

Однажды, когда мы слушали знаменитую оперную певицу Аделу Хуану Марию Патти в опере "Гугеноты", графиня вызвала мой гнев, назвав музыку " иудейски похотливой", потому что композитором был еврей Мейербер.

Это была моя первая встреча с культурным снобизмом, пытающимся обозначить искусство границами национальности, словно плоды воображения творца, бесконечная сила души, должны быть задушенными между четырьмя загаженными стенами времени и пространства.

Со временем, когда ошалевший от антисемитизма Вагнер указал на "еврейскую угрозу" со стороны Мейербера и других художников и композиторов евреев, я поставил его на место, как полагается готтентоту, тем более что Мейербер поддержал его в лишенной всякой сдержанности войне за признание его декадентской музыки. А ведь действительно ее отличают резкие варварские звуки и верховенствует культура биржи.

Неприязнь графини к еврейскому искусству не распространяется на еврейские деньги (во всемирном плане). Она, не колеблясь, инициирует близость с тем из парижских Ротшильдов, который гостит у друзей в Лейпциге.

Я оказываюсь в незавидном положении, второй скрипкой мультимиллионера-еврея, истинного аристократа по поведению, который при всей его деликатности, дает мне почувствовать мое происхождение из семьи небогатых родителей среднего сословия.

И тогда я раскрываю ему, что происхожу от польского графа, чьи конюшни полны породистых лошадей, и который объезжал диких коней с великим искусством, гораздо более искусным, чем ее муж-граф. Я придерживался этой лжи, когда был произведен офицеры-кавалеристы и вызвался объездить дикого боевого коня. Эта моя авантюра кончилась катастрофой, и ранение поразило до самой глубины моего существа. Я был как нищий на скачущем галопом коне. Это было полный распад моего тела, души и духа. Судьба наказала меня не за меры зла, а именно за меры добра – следы морали, которые помешали мне прожить свою философию в полной мере, по примеру Гёте и Жорж Санд, которые превратили свои любовные приключения в печатные листы, и восстановили разрыв между искусством и жизнью.

Я же, как Флобер, хотел представить жизнь и воображение творца как отдельные категории, сделать работу философа во имя его философии. Я просто опустил живое звено между существованием и мышлением.

И когда эта связь оборвалась, я, как художник или философ, попал в когти болезни и безумия.

Специалисты по мозгу не понимают этого. Горизонт их узок, как у моей сестры, наполнившейся святым гневом, когда ей стало известно, что я воплощал в реальность свою философию в Таутенбурге.

Там Лу Саломе, русская еврейка, мудрость которой и любовный пыл ничем не уступают Жорж Санд, принесла себя на жертвенник моего копания в звеньях познания.

В отличие от графини, любовь которой была облачена в варварскую оболочку отмщения и распутства, вырвавшего мою бытийную сущность с корнем, Лу Саломе очистила меня от стыда перед бессмертием, и, таким образом, заставила взбунтоваться мою мужскую гордость, которая пробудилась от постыдного ужаса плоти в понимании апостола Павла.

Вот, чем должны заняться специалисты по мозгу: осознать, что не меры моих непристойностей, а меры моей нравственности привели к моему падению – физическому, духовному и душевному.

44

Случай, происшедший со мной в дни учебы в колледже, позднее документирован, проясняет мое положение гораздо ясней, чем думали мои врачи и друзья.

Будучи в Кёльне, уже после обретения сексуального опыта с графиней и азиаткой, прошу какого-то прохожего показать мне ресторан, а тот направляет меня в публичный дом.

Проститутки в разной степени оголения, проходят мимо меня, пытаюсь соблазнить непристойными движениями своих тел, зазывными взглядами и грубыми шутками. Я оказываюсь в тесном окружении плоти, голых и полуголых жриц любви, от которых идет разгоряченный запах дома терпимости.

И тогда я убегаю к пыльному фортепяно, стоящему в углу, и с силой ударяю по клавишам, вызвав один громкий аккорд – выражение моего гнева против этого сутенерского мира, чья одуряющая вонь лежит, как крышка гроба на нашей торгашеской культуре.

Именно страх перед публичными домами терпимости заставляет меня прислушаться к нравоучениям моей сестры, и убрать руки от Лу Саломе, ибо сестра знает наваждение моей молодости, – мою привязанность и неотвязность от графини и смуглой азиатки, и пытается меня убедить, что Лу это некое слияние холодной развратной блондинки и смуглой разгоряченной брюнетки.

Я сексуально распят между двумя преступницами справа и слева, черной и белой, как Иисус между двумя преступниками.

Она же, сестрица моя, Лама, снимает меня с креста, чтобы пригвоздить к страшной судьбе – жажде кровосмешения, которая таится в моей сути, и требует темного осуществления в корне моего разгоряченного существа.

Оскопление страсти в христианской любви втягивает мою сестру в отчаянный опыт найти удовлетворение в темных и запретных местах эротики.

Дрессированная матерью, требующей подавить естественное половое влечение, она открывает – слишком поздно – что усилие поставить преграду своим, не дающим покоя, чувствам, освобождает в ней поток темной нечестивой похоти. Это накладывает печать на все ее существование, обернувшись разрушительной силой, прорвавшей все преграды морали и культуры.

Она начинает любить то, чего меньше всего желала, и я вовлекаюсь в предательский водоворот ее запретной похоти.

45

Немец считает, вслед за Гёте, что две души соседствуют в его груди, и этим сам себя вводит в заблуждение, ибо мы, германцы, – народ подвоха, полагающие, что болтаемся между варварством и культурой, в то время как по природе нашего сотворения мы звери-люди – маньяки-варвары.

Я в высшей степени неприязненно отношусь к немцам. Но неприятие немцев не ослепляет меня до того, чтобы я не признавал, что Августин был ближе к истине, чем отрицатели первородного греха и предательства, последователи британского монаха Пелагия, жившего в четвертом веке нашей эры, во времена Августина, считавшие, что человек изначально добр и воистину владеет свободой выбора.

Природа человека сотворена из животного начала. Дарвин лишь подтверждает Августина, считавшего, что над всеми тяготеет проклятие первородного греха, греха нашего сотворения из животного, до возникновения первого человека.

Полагаю, что дикость немца, его тевтонская ярость это лишь от негуманной природы человека. Когда Европа, опьяненная мечтой Руссо, плясала вокруг дерева Свободы революции, она не полагала, что ее разгоряченная романтика разобьется о скалу, имя которой – Наполеон, точно так же, как наша вера о совершенстве человеческой природы разбивается сегодня о каменную стену нашего генетического наследия от обезьяны.

Поэзия, и я об этом уже говорил, это высшее метафизическое действие человека. Но наша страсть к поэзии выпятила трудный факт, что мы все же отличаемся от тигра и гориллы, и что женский ангел весьма близок к лесным зверям. Так, что в сердце моем сомнение, – превратится ли когда-либо человеческая раса в гуманное сообщество.

46

Жила во мне юношеская вера, связанная с Гёте, говорившем о том, что Вечно Женственное в силах поднять мужчину к высотам цельности и сотворения. Но это была не более чем неудачная попытка дать Богу проникнуть в мое бытие через заднюю дверь после того, как я его вышвырнул из окна.

Атеизм – горькая пища, предназначенная лишь для тех, у кого крепкий желудок.

Однако, мои отношения с графиней, азиаткой, моей сестрой и разными другими женщинами, ведут меня к печальному выводу, что женщины ничем не возвышаются над мужчинами.

Но наша нужда в идолах и в идолах наполовину возносит Вечно Женственное начало, преувеличивает мощь Сверхчеловека, и приводит к преклонению перед гением, точно так же, как я преклонял колени перед собственным величием.

В дни моей учебы в колледже я и мои сверстники влюблялись до сумасшествия в красавиц – актрис сцены. Они были героинями наших эротических и эстетических грёз.

Трагедия заключается в том, что человек путает между сценой театра и сценой жизни, и женщины умело играют роль в гостиных и спальнях, лучше, чем роли на сцене.

Их нагое тело окутывает сияние, и как царица Эстер из библейской "Книги Эсфири", они умащают кожу косметическими средствами – "шесть месяцев мирровым маслом и шесть месяцев – ароматами и другими притираниями женскими, – тогда девица входила к царю", вызывая в нем потрясение своей красотой.

И если это было системой Артаксеркса, через руки которого проходили тысячи женщин, – читатель да простит несчастному Фрицу Ницше, маленькому священнику, если в его руках менялись графиня и азиатка, заменившие ему самого Бога, и он воображал, что тела их и есть врата в рай – к вечному счастью.

Мы раздавлены чудовищем иллюзии, живущей в нас, и главными ее героинями являются женщины. Их сексуальное естество толкает к вере, что они – богини, дочери бессмертия, и в их силах вознести любовников со дна личной их преисподней в рай любовных наслаждений.

Такие женщины, как графиня, Козима Вагнер и даже Лу Саломе не более чем сладострастные кошки, чьи гибкие тела и бархатные лапы всегда вползали в мужские души, внося хаос нравственный и духовный в самые основы нашего мужского бытия.

Если бы Гёте глубже проник в женскую природу, он бы открыл еще одного Вертера, который покончил самоубийством не из-за неразделенной любви, а из-за осуществившейся плотской страсти. Тысячи Вертеров духовно кончают собой, раздавленные колесами страсти, в противовес одному Вертеру, пустившему пулю себе в лоб из-за какой-то глупой служанки, не захотевшей с ним переспать.

Прекрасный пол потерял надо мной власть.

Существование народа основано на его художниках, обладающих творческим дальновидением.

Убей художника – и ты убил существование страны.

Всегда я видел в себе художника больше, чем мыслителя, а в поэзии – высшее осуществление метафизики.

Но если женщины способствовали моему физическому и душевному упадку, пользовались они слепым инструментом иронического Бога, который сотворил нас в смертельных муках, чтобы мы познали истинный смысл жизни.

Вместе с Достоевским я могу сказать от всего сердца: "Я познал любовь, и также познал боль, но сверх всего, я могу сказать всем сердцем, – я жил!"

Глава третья

Инстинкт родства

47

Какое это было многообещающее начало вхождения в накатывающую на меня будущим жизнь с исполнением мне двадцати лет. После того, как я освежил скуку моего существования в дни подготовки и сдачи экзаменов на аттестат зрелости, путешествием с моим другом Паулем Дёйссеном по Рейну, где на каждой береговой скале мерещилась мне Лорелея любимого моего Гейне, я отдался давней душевной тяге к хоровому пению в Боннском городском певческом обществе.

Много способствовали моему неизменному ровному настроению, чего я сам от себя не ожидал, слушания курса теологии и филологии в течение двух семестров в Боннском университете, начавшиеся именно в октябре, месяце моего рождения двадцать лет назад.

Это настроение не позволило мне впасть в отчаяние от внезапно поразившего меня ревматического заболевания. Я сумел достойно выкарабкаться из него, и это дало мне неоценимый опыт переносить периодически наваливающиеся на меня болезни в последующие годы.

Следующей осенью я уехал в Лейпциг, предварительно записавшись на четыре филологических семинара к доселе неизвестному мне профессору Ричлю, слава которого давно вышла за пределы Лейпцига.

Я знакомился с Лейпцигом в безоблачном настроении счастливого безделья. И, конечно же, зашел в какую-то неказистую книжную лавчонку, взял совершенно случайную книжку, показавшуюся мне по названию сочинением какого-то очередного философа любителя, предлагавшего свое кухонное открытие тайн мира с таким ничего не говорящим и ничем не приманивающим, пожалуй, бухгалтерским названием – "Мир как воля и представление". Я уже хотел ее отложить, но внутренний демон соблазнительно толкнул меня, как обычно, по-приятельски, мол, возьми книгу, хотя я обычно долго примеривался перед покупкой. А тут купил, почти не глядя, вернулся домой, бросился с книжкой на диван, предвкушая сон, который навеют мне первые несколько страниц.

Не тут-то было.

Книга втянула, как воронка, словно я наткнулся на собственные мысли о болезни и здоровье, но, главное, о жизни, как непрекращающемся изгнании из Рая, бегстве от самого себя с постепенно возникающим подозрением, что дорога ведет в Ад. Так я открыл на двадцать первом году жизни книгу Артура Шопенгауэра, и ощутил, что теряю почву под ногами, не в смысле падения в бездну, а в смысле воспарения.

Книга до того меня потрясла, что я две недели страдал после этого бессонницей. Лишь необходимость посещать занятия помогла мне с трудом преодолеть воистину душевный кризис, впервые почти приведший меня на грань помешательства.

Я не мог оторваться, я потерял сон, пока не дочитал до конца его книгу "Мир как воля и представление".

Это бросало меня в сотрясающий восторг открытия и в депрессию от сомнения.

Я рыскал в поисках его книг.

Я испытал истинную радость, узнав, что Шопенгауэр называет Шеллинга "вертопрахом", а Гегеля – "неотесанным шарлатаном".

Для меня же Гегель был тот, кто мистифицировал собственное сознание и затем опрокидывал его на весь мир.

Открытие Шопенгауэра было для меня слишком сильным потрясением. Я пытался всем своим существом безмолвно взывать к забвению

Это впервые предвещало надвигающуюся опасность оказаться "по ту сторону разума".

Хотелось сбежать, убежать обратно во времена неведения, или немедленно свернуться, как ребенок во чреве. Погрузиться в сон, как в некое преддверие спасительного рая. Угадывалась терпеливо ожидающая за сном – дверью, пробуждением – вся неотвратимая моя судьба, как Ангел с мечом у входа в Рай.

Причем, однажды возникнув, Ангел уже не отставал.

Он не охранял вход в Рай от меня, Фридриха-Вильгельма, а преследовал, обступал, когтил.

Сам факт внезапного открытия, отталкиваемого душой, не желаемого, но влекущего воодушевления, заставляющего содрогаться все тело до тошноты и рвоты, переворачивал весь неотступно набегающий вал с каждым утром – жизни.

Это было, как окончательный – неизвестно за что – приговор, навязанная экзекуция изнутри и извне. Я уже понимал, что придется приспособливаться жить в этой невыносимости, существовать в ситуации утопающего, и всплывающего, пока совсем не уйду на дно.

Я хотел дышать, как Шуман, мыслить, как Шопенгауэр, писать, как Платон.

Благословенное спокойное созерцание Шумана, к моему великому сожалению, ни на миг не пленяло мою душу.

Идеи Шопенгауэра навели меня на мысль, что исполнять свой долг – впустую тратить время и силы.

И все же не дает мне покоя замечание другого француза Леона Блуа: "Случай это имя Святого Духа".

Первая девственная мысль, вьезшаяся в меня, и, вероятно, выведенная Шопенгауэром из глубокого наркотического сна подсознания, была о том, что вообще человеческая жизнь есть ошибка эволюции.

Мысль эта колыхалась на призрачных крыльях имени Шопенгауэра, книгу которого я обнаружил случайно, как это всегда бывает: мельком и на бегу узнаешь свою судьбу в лицо.

Позже я пытался одолеть этот соблазн, окунувшись в мир музыки Вагнера и оказавшись в объятиях его содержанки Козимы.

48

Шопенгауэр же был крепостью, над которой можно было витать, но нельзя было захватить.

Когда я несколько остыл, в некий миг, ощутив торопливость по молодости увлечения очередным кумиром, во мне шевельнулась крамольная мысль, которую я пытался отбросить, считая эту мысль предательством по отношению к Шопенгауэру. Не является, думал я, его пессимистическая теория мироздания некой уловкой, в которую он втянул вначале себя, а потом и весь мир, вкупе с таким неофитом, как я.

Как же, параллельно своей теории пессимизма, он продолжал мирно жить добрым семьянином, есть, спать и каждый полдень играть на флейте, не вызывая змей сомнения, а усыпляя их?

Все же, несмотря на приступы меланхолии, я был существом, полным сил, и весьма чувственным юношей. Меня не просто смущало, а возмущало, почему с таким меланхолическим пылом Шопенгауэр говорит о красоте, видя в ней силу, отрицающую половой инстинкт. Мое сопротивление этому поддерживал ни кто иной, как сам, по выражению Шопенгауэра, "боже-

ственный Платон" в своем "Пире", говоря о красоте, возбуждающей не только к продолжению рода, но к феномену чувственности, возвышающейся от полового влечения до высшей духовности.

Как бы стыдился себя самого – ведь, все же, во мне еще жили христианские запреты и угрозы быть испепеленным на Страшном суде – но и с вызовом, который самому мне был внове, хотя и объясним в моей ситуации с сестрой, – я читал у великого афинянина об эротическом опьянении при виде прекрасных юношей. Не много, не мало, но из философской эротике Платона выросло новое понятие – диалектика.

Более того, вся высшая культура и литература классической Франции возникла из полового интереса.

"Ищите женщину" – не праздная выдумка французского интеллекта.

49

Удивительно, как после моей книги "Сумерки идолов" меня не уличили в двуличии в отношении того же Платона и в предательстве Эллады – идеала моей юности. Когда же я говорил правду, а когда лгал? То я брал в свидетели Платона против Шопенгауэра в вопросе чувственности и даже однополый любви. То выступаю против Платона, как радикальный скептик, считая, что он, по сути, отошел от основных инстинктов эллинов в вопросе чувственности, от их сатурналий и вакханалий – под влиянием вовсе не невинных винных пооек, совершавшихся богом Дионисом и пьяницей Вакхом.

В его восхваляемых всеми диалогах, на деле являющихся примером какой-то детской, в определенной степени, инфантильной диалектики, он строит мостик к идеалу, явно попахивающему будущим христианством.

Подозреваю в этом уроки, которые он брал у египтян, а может быть, у евреев в Египте, среди которых, наряду с верностью законам Моисея, несомненно, могли быть и предки ранних христиан. Ведь ясно пишется в Ветхом Завете о всяком сбороде, присоединившемся к Исходу евреев из Египта. Что же касается того, что я изменил с римлянами Элладу, которой посвятил лучшие годы моей профессорской деятельности, то, при всем увлечении культурой и философией древних эллинов, я еще тогда в своих лекциях говорил, что их природа чужда нам, слишком текуча, лишена классической строгости, главного принципа письма римлян.

Меня все же обвиняли в том, что в своих лекциях об Элладу я слишком выпячивал чрезмерно пристрастное отношение эллинов к половому инстинкту и даже половой разнузданности в мистериях под покровительством бога Диониса.

Но это выражало основной инстинкт эллинов – их "волю к жизни", которая надежно хранила вечное возвращение будущего, освященного в прошлом через соитие, через мистерии половой жизни и, главное через страдание рожениц, ибо без страдания нет продолжения жизни. Эллины праздновали соитие, как священный путь вечно продолжающейся жизни, осужденный позднее христианами, как постыдное дело.

Вообще в древности к проблемам жизни подходили с разных сторон, вовсе друг с другом не совпадающих. В предшествующем и нашем веке прямолинейность, усиленная злым подсиживанием, зависть сыграла злую штуку с моими коллегами в области философии и филологии.

За всем этим увязывалась и не отставала другая мысль, которую я безуспешно пытался гнать от себя, – о пользе эгоизма. Ощущение было такое, что надвигается грозная эпоха всеобщего равноправия, которая отольется большим кровопусканием, пока мир не придет в себя. Беда в том, что колеса этой быстро надвигающейся эпохи, обильно смазанные кровью, нельзя остановить. Слова и призывы, каким бы они красивыми и убеждающими не были, не помогут.

На мир надвигается поветрие, основанное на мерзком, но, к сожалению, могучем человеческом инстинкте: всегда кто-нибудь другой должен быть виновен в твоих бедах, в том, что ты бедняк, неуч, неудачник, не обладаешь достаточными мозговыми извилинами. И речь не только о бедняках и люмпенах, которые ратуют за социализм и сетуют на несправедливость неравенства, считая его недозволенным преимуществом.

Даже гении, типа, положим, Вагнера, считают себя обделенными, даже для них, к стыду моему, приемлем лозунг, да простит меня великий композитор: "Если я, каналья, то и ты должен быть таким". О, боги, именно эта ужасная логика производит революцию, то есть, кровопролитие. Кто-то всегда должен быть виновным в том, что ты страдаешь. У Вагнера во всем виноваты евреи. Беда в том, что лучшим лекарством от этой неизлечимой болезни является мёд мести. И ведет к ней звучащее на всех перекрестках Европы слово – "альтруизм". Не может человек признаться, что во всех своих бедах он сам виновен. Ему необходимо этой своей виной обнять весь мир, ибо, как ему кажется, душа его щедра, и страдания его легче пережить на миру. Так и смерть красна.

Но если Шопенгауэр оставил за собой такой ужасный мир, то я, Фридрих Ницше, сделал очень мало, чтобы его исправить.

Часто с удивлением думаю, не был бы я более счастлив, если бы вышел на свет из чрева матери Шопенгауэра, а не из чрева моей матери. Хотя, обе эти властные женщины пользуются материнской любовью, как огромным молотом, чтобы вбить в своих сыновей чувство пленения и собачьего подчинения.

Мать Шопенгауэра была просвещенной женщиной богемы, содержала литературный салон и любовников, которые восхваляли ее книги, не отрывая взгляды от ее прелестей. Никогда она не носила пуританскую мантию лютеранской гусыни, подобно моей матери, и потому нельзя ее обвинить в двуличии, моральном и вещественном.

Когда Мама, в конце концов, выскользнет из вуали слез, я позаимствую вздох облегчения Шопенгауэра – единственно достойный похвалы шаг в его философии.

Кант был укушен и отравлен ядом Руссо. Но тут шла речь о Маме, которая укусила меня и нанесла мне рану, называемую христианами угрызением совести. Лу тоже укусила меня, но это был укус любви, излечивающей любую рану.

Более всего, что меня притягивало вначале в сочинениях Шопенгауэра, так мне кажется, их простота и строгость. Просто читая его сочинения, я испытывал облегчение после небрежного, неряшливого писания Канта, надутости Фихте, мелкого диктаторства Гегеля.

Как мыслитель, не менее великий, чем они, Шопенгауэр не стесняется быть, прежде всего, писателем.

Единственная большая разница между нами в том, что Шопенгауэр – не знаю как – сумел жить в мире, столь вызывающем зависть, со своей столь трезвой женой.

А ведь он знал то, что я открыл для себя, еще не ведая об его существовании: философия и власть – близнецы-сестры. Обе невидимы, нечетки, но весьма ощутимы, ибо посажены на линии жизни и смерти. На этой линии их монолит может расколоться и рухнуть в небытие, но печальная и всесильная их сущность вечна.

И самое страшное то, что в существе, ставшем их рабом, поселяется Ангел смерти. Он захватывает его душу целиком, делает его жизнь невыносимой, тлеющей на этой линии, порождает гениальные вспышки дьявольского прозрения и жесткости души. И тут многое зависит от того, в какую сторону его качнет. Ощувив сладостно-жестокую силу власти, он захочет сделать жизнь подопытной ему массы невыносимой, сковать ее страхом собственной своей души. И горе толпе, которую он назовет народом, и которая вознесет его над собой.

Философ, сам того не сознавая, – предтеча тирана.

Дьявол не только диктует ему, но и водит его пером, и пестует в нем – диктатора.

Жатва душ продолжается

50

До открытия Шопенгауэра, я достаточно равнодушно относился к похоронным процессиям.

Чистый свет утреннего солнца как бы размывал фигуры людей, идущих за гробом. Но тени их, непомерно длинные, ложились на все земные дела.

Открыв Шопенгауэра, я внезапно понял, что тени эти зачерняли также и дела, которыми я собирался заниматься, делая их сомнительными и подозрительно бессмысленными.

Столь светло было на душе там, на кладбище. Лучи заходящего солнца за краем леса надгробий входят в мой сон. Кладбища – эти дворцы без крыш для богатого и бедного в равной степени, которые мы посещаем по долгу, – никогда не вызывают в нас отторжение или разочарование. Они более теплые и более прочные, чем все наши жилища.

Над этим непотопляемым миром закатывается солнце, выбрасывая все возможные цвета, всю печальную красоту жизни, закатывается для тех, кому в эту ночь надлежит уйти в лучший мир. Жатва душ продолжается.

Внезапно ощущение одиночества и внутренней, бьющей через край жизни.

Есть творчество, которое не проистекает из жизни, и, следовательно, равно и противопоставлено смерти. Если источник творчества иссяк, оно и превращается в свою противоположность – гибель. Но как можно жить осмысленной жизнью в мире, лишенном смысла и значения?

Ответом – недвижимое, полное высокого безмолвия, кладбище.

Солнце скрылось, оставив языки пламени, не желающие отпустить на покой уставшую от них синеву неба. Час мирового сиротства, когда прошлое закатилось, а будущее неизвестно.

Вновь и вновь я думаю о глупцах, забирающих труд ангела Гавриила – сжигающих тела близких им умерших и развеивающих прах на все четыре стороны мира. Личное бессмертие, положим, выдумка, но воевать с ним с такой жестокостью и насилием, разве это не более ужасно?

Вместе с открытием Шопенгауэра у меня возникло сентиментальное отношение к кладбищам. Мы готовились к занятиям среди памятников. Парочки, облюбовавшие тайные уголки в этой юдоли скорби, нам не мешали.

И никогда молодость так мимолетно не пролетала в эти часы на кладбище. Она вдыхала в налитую свежестью весеннюю зелень облака света, преображая всё своей высокой тоской и тягой к вечному покою от суетности и постыдного, отмеченного шрамом отбитого крыла ангелочка.

А в голове моей все время вертелся мотив бетховенского "Марша среди развалин и могил".

Мои друзья-студизусы бредили Гегелем. Меня же бесил его всеохватный тиранический рационализм. Я спорил до хрипоты, доказывая, что весь гегелевский рационализированный мир духа, а за ним – рационализированной Марксом материи со всеми их логическими связями и вытекающими друг из друга следствиями – лишь выхваченный карманным фонариком субъекта, радостно пошедшего в рационалистическую ловушку сознания. Это всего лишь клочок из всеохватной тьмы иррационального, один из огненных входов в которое открылся мне в страшном сне, где мой покойный отец выпростался из могилы, схватил ребенка, моего младшего братика, унес в яму и прикрылся плитой.

Я был слишком мал, чтобы это придумать.

Сон этот изводит меня по сегодняшний день.

Мы выхватываем лучом фонарика этот клочок как разгаданную игрушку из всеохватной тьмы, швыряем обратно во тьму: она же возвращается к нам бумерангом, и мы, потрясенные, объявляем ее сутью мира. На самом же деле, это одна из множества и наиболее легко поддающихся разгадок мизерной ее части.

Кладбище притягивало. Мы ухитрились иногда прокрадываться туда и по ночам, прислушиваясь к тихим любовным вздохам и смеху.

Безмолвие, пронизанное иронией и ужасом, стлыло под луной. Казалось, сама смерть пытается примазаться к пошлой суете жизни, и из-под земли преследует нас шепотом и хохотом фигляр и юбочник, полураспавшийся бормотун Бобок из рассказа Достоевского, гениального русского писателя, которого я так же, как и Шопенгауэра, открыл случайно, и переписал почти целиком перевод его романа "Бесы". Многие из русских писателей считают его стиль неряшливым.

Но вот вам пример, как гениальность перекрывает стиль. Это настолько мощно, что стилия и не замечаешь.

Я переписывал текст, и мне казалось, что мелкие бесы гримасничают нам по сторонам аллея, приставляя пальцы к носам и выглядывая из-за беспомощных ангелочков с отбитыми крыльями.

В одном Шопенгауэр похож на древнееврейского писателя – автора книги "Экклезиаст", включенной в Ветхий Завет. С такой потрясающей ясностью он писал о суетности человеческих пожеланий без того, чтобы отвергнуть мелкие страсти человека, как грех или жажду порчи и истребления, заложенную в человеческую природу. По его мнению, человеческое начало не унижено тем, что не может подняться над плотским своим началом.

Шопенгауэр вырос из Канта, который сам вырос из Галилея.

Галилей же вырос из высокопарной болтовни профессоров его поколения.

Я пошел дальше, обогнав Шопенгауэра и дойдя до таких донных низин, что сомневаюсь, появится ли у меня когда-нибудь продолжатель в мышлении или в духе.

Во многих смыслах Кант был создателем современного мира. И какой это узкий мир – в нем существовать могут лишь понятия, достигнутые ощущениями и человеческим опытом. В этом мире человеческое сознание является высшим диктатором, и только верные, им отредактированные, вещи, готовые подчиняться его законам, удостоиваются быть включенными в область существования.

Шопенгауэр связал себя жестко с Кантом, провозгласив, что мир это его идея и что личный опыт не входит в его расчет. Он заново открыл все врата существования, замкнутые Кантом, но кинул горький отчаянный взгляд на все его окружение.

Шопенгауэр внес свой выдающийся вклад в мое сознание, прогибающееся под тяжестью хмурых свинцовых облаков, присутствие которых ощущалось ревматизмом в моих костях с момента, как я раскрыл глаза в этот мир. К нашему счастью Шопенгауэры не рождаются с такой частотой. Шопенгауэр, а не Гёте, настоящий поэт, естественный для нашей страны, упрямый, депрессивный.

Наша истинная повивальная бабка – полиция, а камни – наши пророки.

Суждено нам терпеть поражения в войнах, как и в нашей философии. Если реальной военной победы мы и добились по ошибке, это явно вообще не подходит нашему свирепому характеру.

Я мог повлиять на мою сестру придать ее лицу серьезное выражение, но так и не смог при всех усилиях приблизить ее к духу Шопенгауэра. Два моих друга, умных и веселых, Мушке и Фон-Герсдорф были некоторое время благодаря мне клятвенными его поклонниками, но сам я не был уверен, насколько продолжаю быть верным его учеником.

Я требовал от человека стать Сверхчеловеком, и стал тем, кто принес жертвы на жертвенник невидимым идолам. Так я стал более моралистом, чем философом. Стать Шопенгауэром в миниатюре – дело опасное. Реально же – только если ты сам – Шопенгауэр.

Шуман и Шопенгауэр – два полюса моего бытия. Между ними я мечусь, все время охваченный удивлением.

Гераклит не нуждался в фейерверках остроумия и фальшивых текстах, которые рождаются в заблудшей душе, рассеченной конфликтами, характерными для нашего времени. Он верил в вечный разум, единственный принцип его философии, который я не принял, ибо под влиянием заблуждений Шопенгауэра я запутался между вечным и временным. И на пустой престол Бога посадил филистера в мнимом человеческом облике, лишённого знания и разумной цели – качеств, которые исчезли из моих глаз как божественные качества.

В этой моей войне с филистерами, я сам превратился в одного из них, ибо отбросил волю Гераклита по отношению к разуму, и принял слепую волю за силу, которая выступает бессилием, пока не направляется космическим духом, о чем говорил Паскаль.

Я обсуждаю свою веселую науку в противовес хмурой науке Артура Шопенгауэра.

Шопенгауэр причастен к миру, гораздо больше, чем я, ибо счастливо отрешен от него. И всё потому, что печаль лишь усиливает еще большую печаль, в то время как радость – смотрите, куда она меня привела.

Мое место в будущем видится мне вполне ясным до тех пор, пока я не вспоминаю о Шопенгауэре. От него я отключаюсь каждое утро, и возвращаюсь к нему с приближением сумерек. Несмотря на все свои противоречия, он был цельным человеком, чистым, прислушивался к небу, как и я могу вслушиваться – иногда.

Да, у него не было педагогического опыта, умения передавать свое учение доступным пониманию читателя, но своим литературным даром и темпераментом он был способен вдохновить, и даже очаровать таких, как я и подобных мне, кто, как и сам он, ведом темпераментом, ситуацией, внутренними проблемами, кто все время не отстаёт, а пристает с вопросами о всех «почему» и «для чего» к этому, непонятному своим упорством, открывать свои тайны, Бытию. Потому он покинул его ожесточенным и разочарованным человеком.

Но Вагнер открыл его раньше меня и способствовал его популярности.

Для меня же, порвавшего с христианством, он оказался парусом в океане сомнений, в той водной безбрежности, порождающей страх беспомощности, когда душу охватывает отчаянная тоска по хотя бы клочку твердой земли. Ею и оказался Шопенгауэр, к нему можно было пристать, чтобы перевести дыхание.

По сути, у него я учился работать в одиночку и, главное, выйти победителем.

Нас путают, ибо у обоих фигурирует слова "воля".

Но, кроме этого слова, у нас нет ничего общего.

Быть может, мне следовало бы найти другое слово, чтобы не было этой путаницы.

Шопенгауэр шел от Канта, заменив его "вещь в себе" и видимость окружающего нас мира своим миром "воли и представления".

Я же, отменяя Бога, имею в виду, что человек отдал Ему существующую в душе метафизическую потребность, затем опрокинул ее с неба на себя.

Душевная нетерпеливость Шопенгауэра гнала его преодолеть в один присест неопцененное им расстояние, по сути, бездну.

Я же никогда не покушался на открытие высшей реальности, признавая ее непознаваемой.

Мои "воля к власти" и "вечное возвращение того же самого" вершатся в человеческом, слишком человеческом.

В этом наша принципиальная разница.

Если говорить о влиянии на меня Шопенгауэра и Вагнера, речь идет о влиянии двух крупных личностей, а не учения первого и псевдонаучных положений второго. Оба пытались пребывать в ложном мире метафизики отошедшего века, даже не задумываясь над тем, что надвигается на нас валом грядущего времени.

Мне же суждено стать предтечей нового века, который будет отмечен всеобщим безумием, и я, подобно Адаму, обречен, не как Сверхчеловек, а как первый человек этого наступающего на пятки мира, вероятно, в полном объеме нести в себе это безумие.

Я был слишком молод и лишен всяческой осторожности, чтобы понять, в какой костер я вступаю, какое истинное самосожжение ждет меня.

51

Между тем, после наступившего Нового тысяча восемьсот шестьдесят шестого года, я, двадцатидвухлетний, усиленно готовлюсь к первому моему докладу перед участниками филологического кружка, организованного по инициативе Ричля, которому передал рукопись доклада на тему "Последняя редакция элегий Феогнида".

В свободное время гуляю по Базелю. Город находится на границе трех стран – Швейцарии, Германии и Франции, и потому его называют – «Врата Швейцарии».

Подумать только, университет, куда меня пригласили преподавать, основан здесь в тысяча четыреста шестидесятом году.

Особенно меня, неопита, еще не ощущающего провинциальной скуки города, притягивает старый Базель, который почти не изменился в течение столетий.

В этих узких улочках старинные дома привлекают незамысловатыми деталями – витиеватыми дверными ручками, металлическими приспособлениями для чистки обуви от грязи у порогов, вывесками, ажурными коваными воротами, почтовыми ящиками вековой давности, многочисленными фонтанами, украшенными статуей Базелиска – хранителя герба Базеля.

Конечно же, меня потряс готический собор, с башни которого я любовался панорамой на долину реки Рейн и горы.

Особый интерес, естественно, вызвали у меня музей Античности и стоящий напротив него музей Живописи. Античность моя прямая тема в университете. В музее Живописи потрясла меня до слез картина Ганса Гольбейна Младшего "Мертвый Христос" после снятия с креста.

Гораздо позднее, открыв для себя Достоевского, я узнал, что сравнительно недавно он посещал Базель, и эта картина произвела на него неизгладимое впечатление.

Думаю, он увидел в Распятом самого себя во время припадка эпилепсии.

Я все более и более не просто погружаюсь, а душой привязываюсь к поэтическому миру древней Эллады.

Больше всего удивляет меня то, что за столько веков, со времен Феогнида, творившего в шестом веке до новой эры, мало что изменилось. Поэт, рожденный в аристократической среде, близок мне своей ненавистью к черни, опасность которой я ощущаю инстинктивно, еще и не приблизившись к ней по молодости.

Более того, львиная доля его элегий обращена к юноше, быть может, даже моих лет, молодому аристократу Кирну, но я ощущаю, что все его нравоучения обращены прямо ко мне:

Кирн, не завязывай искренней дружбы ни с кем из тех, кто тебя
окружает,
Сколько бы выгод тебе этот союз ни сулил.
Всячески на словах им старайся представиться другом,
Важных же дел никаких не начинай ни с одним,

Ибо, начавши, узнаешь ты душу людей этих жалких,
Как ненадежны они в деле бывают любом.
По сердцу им только ложь, да обманы, да хитрые козни,
Как для людей, что не ждут больше спасения себе.

И ведь все это было на заре, пожалуй, впервые возникшей в мире демократии, ненавистной ему до зубовного скрежета, победившей в его городе Мегаре. Поэт вынужден бежать из родного города, скитаться в нужде, на грани нищеты.

Мне вспомнился Данте, бежавший из любимой Флоренции и умерший на чужбине, в Равенне.

Все это я пропустил через собственную, такую еще не окрепшую душу, и даже впервые по такому случаю, к стыду своему, пролил слезу.

Ричль прочел мою рукопись и спустя несколько дней пригласил к себе. Взгляд у него был добрый, но весьма испытующий, и я почувствовал себя не в своей тарелке.

– Почему вы выбрали эту работу?

По сути, это был первый в моей жизни допрос.

Достаточно внятно и четко, что со мной бывает не часто, объясняю ему причины моего выбора. Делаю главный упор на то, что юноша Кирн, вероятно, близок мне по возрасту и принципам жизни: иначе бы Феогнид не обращался именно к нему в более чем в тысяче двухстах восьмидесяти элегиях из тысячи четырехсот. После этого я облегченно вздыхаю, когда он осведомляется о моем возрасте и годах обучения. Тут настает очередь комплимента со стороны этого скупого на похвалы профессора: он искренне признается, что в своей практике еще не встречал такую работу по четкости композиции и строгости подхода к теме у студента третьего семестра.

Я со всех сил стараюсь сдержать дрожь, которая возникает у меня, когда меня хвалят, при его требовании переработать мою рукопись в небольшую по объему книгу. Более того, он обещает мне помочь при сверке набора с оригиналом.

После такого приема, я, давно замысливший побег от занятий филологией, чтобы полностью отдаться изучению философии Шопенгауэра, отдыху с музыкой Шумана и длительным прогулкам в одиночестве, соглашаюсь принять предложенную мне университетом работу по исследованию источников Диогена Лаэртского.

О личности его не сохранилось никаких биографических сведений, даже дат его жизни. Предположительно, он жил в конце второго, начале третьего века новой эры.

Именем его подписан трактат об античных мыслителях, включая имена Фалеса Милетского и Солона, живших в архаическую эпоху, и более поздних философов – до границ нашей эры.

Никакой связанности и хронологической последовательности в трактате нет. Упор делается на воззрения, смешанные с анекдотами, скорее похожими на выдумки и легенды из жизни и творчества Платона, стоиков, скептиков и эпикурейцев, явно их фантастических писем и довольно язвительных эпиграмм на них.

Вместе с тем в трактате можно найти ряд изречений Гераклита, само имя которого вызывает волнение в моей душе, неизвестных из других источников, список несохранившихся трудов Демокрита, ценные сведения о сочинениях Платона.

Завидная доля – суметь исчезнуть в бездне времени без следа и, при этом, существовать во всей мощи, продолжая посылать свои язвительные стрелы в кумиров своего времени и сильных того мира.

В общем, для меня это воистину вызов – написать такую работу.

Тем временем события не оставляют себя ждать.

За неделю до моего двадцать третьего дня рождения меня призывают на военную службу в конное подразделение второй батареи полка полевой артиллерии в Наумбурге, а сочинение о Диогене Лаэртском удостоивается премии, и в "Рейнском научном журнале" опубликованы мои первые две статьи о нем.

После казарменных порядков Пфорты служить достаточно легко.

Какая легкомысленность. Я даже фотографируюсь с саблей наголо и закрученными усами. Опора – на одну ногу, другая расслаблена, левая рука небрежно лежит на бедре. Лицо – очень грозное. Воина должен окутывать грозный ореол. Обожаю скакать на своем коне по просторному плацу. И все же, в те дни, я отчетливо ощущаю, насколько жизнь моя идет полосами – белой и черной.

Лихо запрыгиваю на конскую спину, получаю удар в грудь о переднюю луку седла и оказываюсь на больничной койке с поврежденной грудной костью и воспалением мускулов груди в клинике знаменитого врача Фолькмана. Обмороки, температура, адские боли. Компрессы со льдом. Лежу в постели, затянутый веревками. Каждый вечер мне дают морфий. В нескольких местах вскрыли грудь. Внутри она сплошь воспалена. В один из вечеров вместе с гноем выходит из груди осколок кости. Я плачусь в письме другу, жалуясь, что слаб, как осенняя муха, изнурен, как старая дева, тощ, как аист. Три месяца меня не привлекают к службе, полгода восстанавливаю здоровье, принимаю ванны.

Как я не старался, военная служба не пошла мне впрок.

В марте черная полоса пресекается: после пяти месяцев страданий, меня списывают из армии по негодности, я возвращаюсь в Наумбург, и собираюсь продолжить обучение в университете, твердо решив заняться преподавательской деятельностью.

В декабре шестьдесят восьмого года в Базельском университете освобождается кафедра греческого языка и литературы.

Меня приглашают, по рекомендации Ричля, на пост экстраординарного профессора.

Так опять Судьба распоряжается по-своему: мой добрый гений Ричль в начале января нового восьмьсот шестьдесят девятого года по секрету сообщает мне, что в Базельском университете всерьез намереваются пригласить меня на пост экстраординарного профессора – преподавать греческий язык и литературу.

И тринадцатого февраля, без предварительной защиты кандидатской и докторской диссертаций, лишь на основании опубликованных статей, присуждают мне, достопочтенному профессору Ницше, степень доктора.

С ума сойти. И это – в двадцать четыре года.

И, главное, это дает возможность ближе сойтись с Вагнером, с тысяча восьмьсот шестьдесят шестого года проживающим в Трибшене, близ Люцерна, в двух часах езды от Базеля.

Профессор в двадцать четыре года

52

Именно в это время происходит в моей жизни весьма значительное событие: знакомство со знаменитым композитором Рихардом Вагнером. Истинно, осенью тысяча восьмьсот шестьдесят восьмого наступает светлая полоса, начало которой увенчано увертюрами к операм Вагнера "Тристан" и "Мейстерзингеры". Я прослушиваю их через тринадцать дней после моего двадцать четвертого дня рождения. Я погружаюсь в чтение произведений Вагнера "Искусство и революция" и "Опера и драма".

Рихард Вагнер завладевает всем моим существом.

И словно по наитию, как в последующие годы в моей жизни случается нередко, через неделю, восьмого ноября, я оказываюсь в доме известного специалиста по Востоку Брокгауза. Он женат на сестре Вагнера. И сам великий маэстро оказывается у них в доме.

Этот маленький, похожий на гнома, человек с тяжелой головой и выдающимся подбородком то ли тевтонского рыцаря, то ли разбойника с большой дороги Карла Мора из пьесы Шиллера, излучает силу гения. И я купаюсь в его лучах, млея от того, что он беседует со мной о другом гении, под сенью которого я обретаюсь последнее время, Артуре Шопенгауэре, говоря, что многим ему обязан и что это единственный философ, постигший сущность музыки. Прощаясь, он просит меня посещать его. Мы бы, говорит он, для вящей взаимной пользы занимались музыкой и философией.

В "Рейнском научном журнале" выходят третья и четвертая статьи о Диогене. И все же я просто жажду бросить филологию, ибо в существующем виде она просто бесит меня. Меня охватывает стойкое отвращение к филологии и вообще, к науке.

Вот она, стоит передо мной моя запись тех лет:

"Цель науки – уничтожение мира. Такое уже происходило в Греции. Правда, сама греческая наука весьма ничтожна. На примере Греции мы видим, как искусство уничтожает государство. После чего наука разлагает искусство".

Думаю, я весьма преувеличивал свое неприятие Эллады.

И связано это было с тем, что неожиданно в столь раннем возрасте получив профессора греческого языка и литературы, я со всей связанной с этим радостью, ощущал, что прощаюсь с независимостью и вольностью моих устремлений в будущее, что наука подступила ко мне, стреножив, как необъезженного жеребца.

Хорошо помню, как я жаловался другу моему фону Герсдорфу, что, вот, наступил неотвратимый миг, и я вынужден отправиться в налагающую на меня непривычный долг, угнетающую атмосферу, по сути, подневольного труда. Именно, этот труд, по моему мнению, уничтожает личность и государство.

Мне тошно от того, что я вступаю во владения суровой богини Повседневности с большой, почти неотвратимой, вероятностью превратиться в добропорядочного мещанина. Одна надежда у меня на Шопенгауэра, который удержит меня от превращения в "человека профессии".

С отстраненным удивленным взглядом окидываю я молодого человека, на которого смотрят все прохожие, ибо он единственный в Базеле носит серый цилиндр, человека, чуть ниже среднего роста и довольно крепкого сложения, с трудом узнавая в нем самого себя. Усы несколько скрадывают мой возраст.

Но этот человек – профессор с годовым окладом в восемьсот талеров: баснословная сумма по наумбургским понятиям. Мама гордится своим сыном в письмах, уже разосланных всем родственникам, называя его – мой старый добрый Фриц. Тетушки оповещают в своих молитвах всех близких, ушедших на тот свет.

Дочка соседей при слове "профессор" спрашивает: это что, королевский трон? Большой шум в малом селе. Я же, двадцатичетырехлетний профессор, который будет учить студентов своего возраста, приступаю к написанию своей, в общем-то, действительно тронной речи. И я, который совсем недавно клял филологию, сам не веря своим ушам, вещаю в переполненном актовом зале Базельского музея о том, что филология – не муза, но – посланница богов. Она нисходит к людям в мрачные мучительные времена, и утешает их, рассказывая о прекрасных, светлых образах богов, обитающих в далекой, лазурной, волшебной стране.

Мне совсем не нравится поднятая вокруг меня шумиха. В первые же недели я получаю шестьдесят приглашений. Все жаждут познакомиться с молодым человеком, который, не имея ученой степени, стал профессором и производит своими лекциями фурор. Не избежать унижительных колкостей со стороны некоторых коллег: к этому я еще не привык.

Постепенно, опять же, с удивлением, я втягиваюсь в преподавание, и мне это начинает нравиться: студенты бегут на мои лекции.

Я же, и не впервые, сам удивляюсь, насколько мои знания античной Эллады разносторонни и глубоки.

Мои лекции начинают посещать мои коллеги, профессора, слышав о том, что я опровергаю мнения прославленных знатоков древней Эллады, самих Гёте и Винкельмана, описывающих греков, как расу прекрасных детей, а саму Элладу, как лучезарную эру человечества.

Я же показываю их достаточно свирепым, воинственным и даже жестоким народом, но действительно создавшим неповторимую культуру и, главное, сумевшим управлять своими порывами и направлять их в поистине творческое русло.

Один из любимейших моих древнегреческих философов, мудрец из Эфеса, Гераклит, сказавший, что "всё течет, все изменяется", по сути, своим учением затронул во мне мысль "о вечном становлении".

Идею состязания он перенес из обычных в гимназиях физических состязаний, и борьбы за власть политических партий, в некий всеохватный принцип развития Вселенной.

И главным в этом принципе является тотальная нестабильность Бытия, которая делает все возможное, чтобы застолбить собственную сущность, и не в силах преодолеть закон вечного изменения.

Человеческий ум и сегодня затрудняется это усвоить. Конечно же, интуитивно я понимаю, что все же существую в иную эпоху, и мое появление среди древнегреческих мудрецов требует существенной корректировки. Гераклит все же окутан туманной дымкой тысячелетий, что делает его образ особенно привлекательным. Вполне возможно, что он чем-то походил на сварливого одиночку Шопенгауэра, но, даже рисуя его таким, я хочу дать студентам понять, что именно призвание философа, а ни в коем случае не профессия, – быть одиночкой.

Позднее, когда я работал над своими книгами, в самые острые, спорные и счастливые моменты размышлений передо мной возникал облик Гераклита. Именно, он, а не филология, стоял у входа в зарождающуюся книгу «Человеческое, слишком человеческое».

Глава четвертая

Под крылом ястреба или орла?

53

Совсем юноша, весьма неискушенный во многих областях, и особенно в музыке, я впервые слушаю Вагнера, лишенный любого знания о смысле сумерек жизни.

Но в те дни, не дающая мне покоя университетская скука, вкупе с провинциальной швейцарской атмосферой Базеля, при всем моем сопротивлении подспудно накапливающемуся отвращению, начинает меня всерьез тяготить.

Единственным светлым лучом в этой периодически охватывающей меня меланхолии, переходящей в депрессию, становятся посещения дома Вагнера, беседы об искусстве, в которых участвует очаровательная жена Вагнера Козима, на которую падает высокий свет ее отца, выдающегося композитора Ференца Листа.

Мне хорошо запомнилось первое посещение Вагнера и Козимы в Трибшене семнадцатого мая тысяча восемьсот шестьдесят девятого года.

Я был настолько возбужден этой встречей, что меня ничуть не удивило облачение Вагнера – костюм голландского художника: черный бархатный жакет, бриджи, шелковые чулки, башмаки с пряжками, берет в стиле Рембрандта и ярко-синий галстук. Я даже подумал, памятуя о моей неприязни ко всему немецкому, что это, с его стороны – насмешливый вызов пруссачеству. Вокруг все дышало роскошью: стены были обиты штофом, предметами искусства было заставлено все пространство их с Козимой проживания. Случайно оказавшиеся в доме благонамеренные обитатели округа распускали слухи о сумасшествии хозяина.

Меня же это абсолютно не смущало. Наоборот, после первого посещения, я только искал случая, чтобы вырваться к ним из обложного, вгоняющего меня в депрессию, одиночества и серой университетской скуки. Ее не могла развеять прочитанная мной вступительная университетская речь о Гомере, который тоже мне несколько надоел в процессе написания речи.

Пятого и шестого июня я снова в Трибшене.

Меня потрясает мужество Вагнера, эпатирующего окружающую массу мещан, которым несть числа. Они ведь открыто на всех перекрестках называют его ненормальным и высокомерным маньяком, особенно после проекта театра в Байрейте. Того же мнения его близкие и друзья, зная его требовательность, и называя его исподтишка тираном, что, в общем-то, недалеко от истины.

Но в те дни я считаю, что гениальность дает право на тиранию.

И даже сейчас, после моего разрыва с ним, значение Вагнера в моей жизни трудно переоценить. При всех смешных сторонах, которые обнаруживаешь, сблизившись с человеком, величие пусть и спорной его гениальности перекрывает все замечаемые мной огрехи.

Я понимал и принимал вначале размышления Вагнера вслух о том, что любой самый искренний человек в душе актер, что любовь и ненависть две стороны одного и того же чувства.

Быть может, в тот некритический момент моей жизни грандиозность опер Вагнера я воспринимал, как намеренное желание господствовать над людьми.

А это уже попахивало волей к власти, – идеей, пришедшей мне намного позже, и потому даже не натолкнувшей на мысль, что она связана с теми первыми, быть может, наивными размышлениями о скрытых стремлениях Вагнера к господству.

Я любил его большой прямоугольный дом в Трибшене с видом на озеро Люцерн, любил в соседней комнате прислушиваться к его сочинительству, к поискам звучаний, которые потом становились частью музыкальной памяти нации, да и всего цивилизованного мира. Ведь он был в расцвете творческих сил, когда я стал воистину его другом в Трибшене.

Преданность моя ему не знала границ, а это всегда мстит с естественно нарастающим во времени по-человечески понятным разочарованием.

Со смущением и болью вспоминаю, как я безудержно хвалил его друзьям и знакомым, говоря, что в нем живет бескомпромиссный идеализм, страстный гуманизм, и такая возвышенная серьезность намерений, что рядом с ним чувствую себя, как рядом с Богом.

Ну, сказал бы – рядом с отцом.

Но таков я в минуты переклестывающей меня экзальтации.

В такие мгновения я готов пожертвовать собственной карьерой, взяв двухгодичный отпуск в университете, чтобы целиком посвятить себя созданию бессмертного, в чем я был тогда уверен, театра в Байрейте.

Меня не оставляла мысль о том, что Вагнер и мой отец, которого я не переставал любить после стольких лет его ухода из жизни, были одногодками: оба родились в тысяча восемьсот тринадцатом. Да и внешне Вагнер походил на пастора. Но, главное, он предстал передо мной в облике чужестранца, воплощенного протеста против немецких добродетелей, от которых портилось мое пищеварение. Он ведь бежал от немцев, и решительно не был на них похож. По операм можно было судить, что все эти немецкие добродетели вызывали у него неподдельное презрение.

И вдруг он подписывает ко мне письмо: Рихард Вагнер, церковный советник. Как же надо измениться, чтобы этим гордиться. Этого я ему никогда не простил.

Унизиться до немцев, стать райхдойче – имперским немцем?!

Не зря, сам себя не узнавая, я пугался того, что стал восторженно ослепленным поклонником Вагнера, ибо знал свой характер.

Я впадал в опасное состояние эйфории, обсуждая с ним Шопенгауэра и Гёте, и старался загнать в темный угол души на миг возникающую неприязнь, когда он старым козлом скакал с петушиной легкостью вокруг своей обожаемой Козимы. Еще бы, он ведь старше ее на двадцать четыре года.

Тут же, отскакав какое-то время, он с высокомерием памятника застывал при разговоре со мной о Шопенгауэре. Уже не первый раз он патетически восклицал, что этот гениальный философ лучше всех среди философской братии разбирается в музыке. Мне начинало казаться, хотя я боялся себе в этом признаться, что он слишком буквально использует философию Шопенгауэра в своей музыке. И все же, в Трибшене я чувствовал себя, как дома.

Иногда нас посещал высокий седовласый старец, отец Козимы Ференц Лист, разгуливающий по гостинной походкой бонвивана и баловня женщин. По-моему, он пытался походить на Николо Паганини, умершего за четыре года до моего рождения, в тысяча восемьсот сороковом. Для этого Лист отпустил длинные, белые, как снег, волосы, так, что они покрывали его плечи.

Рядом с ним Вагнер сжимался в маленького сморщенного старичка с немного сторбленным носом и тонкими насмешливыми губами. Но, занимательно и знаменательно то, что, в присутствии тестя, Вагнер всегда появлялся в своем знаменитом берете. А это уже было не смешно.

Однако, Лист действительно был гениальным композитором и пианистом, и я взирал на него, как на живой памятник, и удивлялся его комплиентам в мой адрес: оказывается, он читает мои статьи и весьма их ценит. И я, наигрывающий некоторые его рапсодии, тут же сочинил про себя посвященное ему четверостишие:

Изящно и чисто
Играть с листа
Ференца Листа.

54

Из набитого скукой, как динамитом, Базеля я рвусь в Трибшен, как в некий рай гениев, кажущихся мне прообразами Сверхчеловека, идея которого посетит меня позднее, хотя вся обстановка, окружавшая их на моих глазах, попахивает нафталином.

Мне двадцать пять лет, Козиме – тридцать два, Вагнеру – пятьдесят три.

Он старше ее на целую мою жизнь. Можно понять, почему он так суетится и приплясывает вокруг нее.

Иногда меня всего передергивает: черт подери, что нашла Козима в этом старике-зазнайке? Но я одергиваю себя, стыдясь своего двуличия.

Что можно поделать, когда во мне кровь играет, как в молодом козле, и я уже достаточно опытен в обхождении с замужними женщинами после графини. Причем, для такого циника, как я, при всем своем очаровании, Козима выглядит достаточно потасканной. А вот же, ушла от прежнего мужа, выдающегося музыканта и дирижера Ганса фон-Бюлова, который стоит далеко не последним в этом, несомненно, парадном ряду великих музыкантов, и вовсе не собирается пускать себе пулю в лоб по примеру мужа графини. Внешне она менее привлекательна, чем графиня, но интеллект и постоянное присутствие вокруг нее великих мужчин выделяет ее и наделяет особым светом.

И мне, с моей сентиментальной неуклюжестью и какой-то вечно прорывающейся наперед и невпопад благодарностью непонятно за что, вероятно, на роду написано – влюбляться в такую женщину.

Ее утонченное и несколько удлиненное лицо и легкая походка облакают ее в моих глазах сиянием красоты.

Мне непонятно, почему Вагнер, уезжая по делам, просит меня иногда помогать ей – ухаживать за детьми.

Я же вначале весьма осторожен, ибо очень дорожу их расположением и близостью. Я даже боюсь признаться себе, что меня раздражает громоздкая помпезность, и растянутость его опер, утомляет множество скрипок и флейт в оркестре, ослепляющий и оглушающий зрителя парад фанфар, новшество в виде глубокой оркестровой ямы, чтобы звуки как бы из-под земли обретали некое мистическое звучание.

Меня пугают зигзаги в использовании Истории в написанных им либретто, отличающихся, в сравнении с его музыкой, невысокими литературными достоинствами, хотя он очень ими гордится. Без музыки они выглядят и вовсе беспомощными.

Серьезно или на потребу его увлечение то посконным деспотизмом революции в духе социализма или даже коммунизма Маркса, сулящей разруху, гибель и кровь в грядущем во имя ничем не обоснованных, как говорится, лишь на словах, идей светлого будущего, несомненно, стелющих путь в ад?

Внезапен уход Вагнера в языческое варварство древнегерманских богов – Одина и Вотана и, главное, валькирий, на радость феминисткам.

Русская моя Елена – дорогая Лу, темная лошадка, выступает решительной защитницей женской эмансипации, начинающейся и заканчивающейся в постели.

Ее идеал – именно, эти валькирии бога Одина, провожающие души мертвых героев, павших при защите его двorca – Валгаллы, в мир вечного пира.

Эти свирепые в своей ярости красавицы олицетворяют для нее современных женщин. Они определяют героями лишь тех, кому предназначено пасть на полях любовных битв нагими. Они несут на крепких своих, пусть и женских, спинах – убитых в Валгаллу. Там павшие проводят время в сомнительных пирах с теми, кто их туда приволок.

Лу, как валькирия Вагнера, скачет галопом, не останавливаясь, на коне Венеры, и сердце мое понимает ее флегматичного героя из Парижа Поля Ре, который вынужден плясать козлом в прыгающем ритме, подобно Вагнеру, под дудку этой женщины-Кентавра, топчущей своими копытами всех своих стареющих любовников.

55

Тут, в доме умалишенных я заново проверил мое отношение ко всему, что касается Вагнера. Я не желаю признавать, что из-за Козимы, он навязан мне рукой судьбы. Фанатик Вагнер, а с ним вкуче моя сестра и мадмуазель Саломе считают меня Иудой Искаротом, предавшим Бога.

И все потому, что я, считающий себя Богом всевышним, не могу терпеть других божеств на моем пути.

Согласно подозрительной теории Чезаре Ломброзо, то ли психолога, то ли психиатра, то ли выдающегося мошенника от науки, которую можно считать таковой с большой натяжкой для нашего безумного времени – гениальность всегда соединена с безумием.

Из этого вскармливается низменная спесь мелкого буржуа, который никогда не сможет возвыситься над плебейской посредственностью.

Будучи гением, какого не было в истории человеческой мысли, я говорю следующее со всей необходимой скромностью: так как человеческое мышление еще находится на ступени Сократа в своей согласии со все более торжествующим в мире ослиным уровнем – я тот, кто по необходимости сошел с ума, и воткнул нож в самого своего лучшего друга Вагнера – в приступе безумия гордости.

Этот поклеп преследует меня, и, не колеблясь, пользуется мечом патологии, чтобы заколоть мою гордость. Но факт заключается в том, что изначально я и Вагнер – были два полюса, две цели, как Иерусалим и Афины, каждый из которых жаждал поглотить мир мышления.

Мы были как две враждебные планеты, столкнувшиеся в музыкальном пространстве. И симфония огня и рычание оркестра в операх Вагнера подавляли балдеющую публику громами и молниями.

Вагнер, властитель в мире музыки, подобен тирану Нерону.

Вместо одной скрипки, он ввел в действие целый оркестр, чтобы ошеломить не столь сведущих в музыке слушателей, наводя на всех ужас.

Но Нерон, этот коронованный клоун, сумел лишь пробудить волны хохота в среде дешевых зрителей, которые ныне вовсе не осведомлены в музыке Вагнера, отравленной христианской смертью.

А этот "граф Калиостро" в музыке взял под свое покровительство христианство, чтобы сбить с толку его глупых узколобых поклонников, страшась, как бы они не отринули его самого.

Я же отринул их пустоту и бессодержательность этих усилий, не имеющих никакого ощущения к искусству. Они подобны той лягушке из сказки, которая раздулась до огромных размеров и лопнула с явно неприятным фанфарным нечестивым звуком, источник которого осмелился описать лишь Рабле.

Да, я креплюсь, я лгу себе все же ради Козимы, хотя не могу вынести ее сладостно фальшивого влюбленного взгляда на своего "папочку" Рихарда.

Мы сходимся с ней на почве наших сложных отношений с родителями. Она, оказывается, незаконнорожденная дочь Листа, открывает мне свои непростые отношения с отцом, которого

все же любит, в отличие от моих отношений с Мамой и Ламой, в которые я посвящаю ее, ни звуком не упоминая о запретной связи с сестрицей. Даже я, невероятно болтливый тип, понимаю, что сия тайна должна такой остаться даже за гробом.

Любопытно, что она с пониманием, не возражая, слушает мои весьма спорные размышления или измышления по поводу непонятных мне причин такой свирепой ненависти папаши Вагнера к евреям. По-моему, это похоже на комплекс человека, который сам родился евреем и тщательно скрывает свои корни. Ведь отца он потерял в свои полгода, не знает, кто он.

Ходят упорные слухи, что отчим Вагнера актер Людвиг Гейер, в смысле – ястреб, был любовником матери еще при жизни отца и, вполне вероятно, его отцом. Козима молчит, когда я размышляю при ней вслух, что Гейер это почти Адлер – орел – самая распространенная фамилия среди немецких евреев. Трудно найти в Вагнере какую-нибудь немецкую черту. Его натура просто противоречит всему, что считается немецким, не говоря уже о его музыке. В общем, я раскрываю ей свою душу, а она мне – свою. Вот и возникает наш тайный союз.

Под руководством Козимы я учусь делать первые шаги в мире великой лжи, называемой "абсолютными истинами".

Предательство с моей стороны все же еще обожаемого моего старшего товарища, дружба с которым очень напоминает мне дружбу двух очень уважаемых мной писателей – Стендаля и Мериме с почти такой же разницей лет – доводит мою совесть до болезненного состояния.

Но Козима излечивает меня постельным режимом в отсутствие любимого мужа, объясняя, что совесть это и есть моя болезнь, которой я заразился в Наумбурге, в атмосфере лютеранского лицемерия и ханжества. Она облекает распутство в праведные одежды чистой и предельно преданной любви.

Вагнер, конечно, достоин рогов, которые я ему наставляю, ибо человек, крадущий жену товарища по ее жадному согласию, не может ждать верности от любовницы. Она будет верна только своему телу, для наслаждения которого полезет в любые постели, как Фаустина, жена Марка Аврелия. Но есть огромная разница между римским царем-стойком и монархом империи музыки.

Марк Аврелий не был первым, кто простил жене, а после ее смерти создал в ее честь святилища и поднял ее измены до небесных высот, словно она была богиней с Олимпа, омытая космическим распутством, что звезды сгорали от стыда и укрывались за облаками.

Вагнер же, в отличие от царя римлян, слишком высокомерен, чтобы верить, что его дорогая Козима может идти по стопам Фаустины, ибо себя он считает выше любого кесаря.

А я подливаю масло в его гордыню, ибо после того, как я низверг Бога, на меня навалилась приступом темная страсть преклонения перед иным богом – чудом идеала.

Но не может человек быть героем в глазах своей жены или любовницы.

Каждого сдает нужда в независимой духовной жизни, и я не смогу преклонить колени перед богом, за спиной которого буду сжимать в объятиях его богиню.

Так родился мой Сверхчеловек, – выше человека, искусственное существо, которое я создал, чтобы компенсировать потерю Бога, Шопенгауэра, Вагнера и любого земного гения.

И все-таки я еще пытаюсь всеми силами своей души определить меру моей испорченности и черной неблагодарности этому все же незаурядному человеку, столь приблизившему меня к себе без всякой задней мысли и особой выгоды.

Уподобляясь отвергнутому мной Богу, я пытаюсь взвесить на небесных Весах меру моей испорченности, сравнивая ее с мерой испорченности Козимы, строящей козни за спиной мужа. Ведь я, по сути, наставляю ему рога с тем наглым плебейством, которое сам так ненавижу. Я злоупотребляю особым ко мне доверием этого напыщенного до смешного памятника. Ведь он видит себя в зеркале с неперменным лавровым венком на своей неправильной формы голове, и не замечает при этом лицезрении себя ничего и никого вокруг.

Изо всех сил я сдерживаю подмывающее меня желание написать о нем памфлет. И все из жалости и любви к Козиме.

И потом, как я буду, посвятивший ему книгу "Рождение трагедии", после этого выглядеть? Да, я открыл ей себя в минуты близости, как известно, располагающей к обнажению не только плоти, но и откровению души, за которое она платит мне таким же откровением.

Женщины Вагнера понимают свободу только как половое удовлетворения. И если это так, то нимфоманка Мессалина, а, по сути, царственная проститутка, была самой свободной женщиной в мире. Но что поделаешь, я любил Вагнера в течение определенного времени.

Козиму я полюбил навсегда.

Между тем, наступает тысяча восемьсот семидесятый роковой год.

Я продолжаю в январе, как ни в чем не бывало читать в Базеле доклад о греческой музыкальной драме, а тотчас, вслед за ним, доклад о Сократе и его отношении к трагедии, который посылаю в Трибшен. Ответ Вагнера не оставляет себя ждать: "Вчера вечером читал подруге Вашу статью. Мне пришлось после этого долго ее успокаивать..."

Такой интенсивной переписки с Вагнером, перемежающейся с посещениями Трибшена у меня еще не было.

Девятого апреля я получаю назначение на должность профессора и, начинаю готовиться к новым семестрам, обкладываясь книгами. Со мной днюют и ночуют Софокл, Гесиод, Цицерон. Я знаколюсь и обретаю истинного друга на многие годы – протестантского богослова, родившегося в Санкт Петербурге на семь лет раньше меня – Франца Овербека.

56

Но недолго музыка играет, и музы пляшут вокруг меня.

Широкая черная полоса накрывает Европу.

Пятого июля, внезапно, как это всегда бывает, вспыхивает франко-прусская война.

Вчерашняя скука, обсевшая меня книгами, теперь кажется раем, ибо совсем недалеко, за границей нейтральной Швейцарии, льется кровь ошалевших от патриотизма, как от угарного газа, ни в чем неповинных людей.

Вагнер в восторге. Теперь он покажет Парижу, как третировать его гений. Он, всю жизнь мечтавший о богатстве и роскоши, но вместо этого одолеваемый кредиторами, из-за которых всегда находится в бегах, как герой его оперы "Летучий Голландец" или Вечный Жид, надорвал на этом здоровье. Он говорит, что, подобно мне, страдает неврастенией, и без конца назойливо выпрашивает меня о симптомах моих заболеваний.

Он уверен, что, наконец, исправит свое финансовое положение, да хотя бы за счет преуспевающего французского композитора еврея Мейербера, по настоящему, Якова Либмана Бера, сына берлинского банкира. Ну что с того, что этот проклятый Мейербер помог Вагнеру поставить в Дрездене оперы "Летучий Голландец" и "Риенци". Раздутый собственной значимостью, Вагнер не умеет и не желает быть благодарным. Наоборот, он уверен, что Париж его не принимал из-за козней торговца от искусства Мейербера, являющегося для Вагнера олицетворением упадка, который несут в музыку евреи. Более того, "коммерсант от музыки" Мейербер становится главным героем книги Вагнера об иудейском духе музыки. Название книги простое, но весьма откровенное – "Евреи в музыке". В ней он выражает непримиримую ненависть к строю Франции, который, как считает Вагнер, основан на силе денег, ему, Вагнеру нужных позарез. В этой книге Вагнер открыто признает, что именно ненависть к Мейерберу стала непосредственным источником цикла его опер "Кольцо Нибелунга".

Козима выражает опасение, что от этого напряжения Вагнера может хватить удар. Я же так далек от этой его, по-моему, просто позорной суеты, я не могу сидеть, сложа руки, и не от избытка патриотизма, а от боли, что гибнут мои сверстники.

Я подаю просьбу разрешить мне отправиться на фронт в качестве солдата или санитаря. Швейцария соблюдает нейтралитет в этой войне, но все же разрешает мне мобилизоваться санитаром.

По сути, это моя первая война. Я догадываюсь, что это такое, но ужас и потрясение превосходят все мои представления о войне. Фронт это сущий ад, кровавая бессмысленная мясорубка, поля, обрастающие взрывами, вместо деревьев, среди которых мечутся обезумевшие люди. И главное, это совсем недалеко от швейцарской пасторальной тишины. Как санитар, мобилизовав все свои душевные силы, я мечусь среди истекающих кровью, умирающих юношей, будущности Европы, будь то француз или немец. Кажется, меня не берут ни пули, ни снаряды, но сопровождая транспорт раненых в Карлсруэ, я вдруг начинаю задыхаться, меня валит с ног дизентерия, не дает продохнуть дифтерит.

Меня кладут в госпиталь, где я неделю нахожусь между жизнью и смертью. Мне уже все равно, лишь бы прекратить страдания, я, то теряю сознание, то прихожу в себя. Около меня, сквозь бред, возникает то ли тень Вагнера, то ли сам он в сутане священника. Кто же еще с радостью будет меня отпевать, как не он, за все, что я ему сделал. Неужели Козима призналась. Эта мысль настолько невозможна, что я прихожу в себя от бреда.

57

К концу октября я в очередной раз выкарабкиваюсь из могильной ямы.

Потрясает, что мне ни разу за эти тяжкие, на грани смерти, дни, не снится отец, уносящий в могилу ребенка. Неужели болезнь освободила меня от этой преследовавшей меня мороки: мне перестал снится отец. Что ж, бывает, что случается чудо.

Я все же молод и достаточно крепок.

Когда я подпал под почти наркотическое влияние Вагнера, музыка его начала прокладывать дорогу к другим более эмоциональным мирам в моей душе над волнами дизентерии, дифтерита особенно мигрени.

Пусть не полностью выздоровев, я возвращаюсь в Базель, приступаю к лекциям, и все спрашиваю себя, что действительно достигло моих ушей в эти страшные дни?

Вряд ли радуется меня, что в этой войне Германия побеждает. Франция капитулирует. Вагнер ликует. Радость его переходит все границы. Он не может успокоиться, он пишет в отместку за свои мытарства в Париже статью "Капитуляция, комедия в античном духе". Он сочиняет "Марш кайзера" (Кайзермарш") в честь победы Германии. Я тоже пишу статью "Дионисийское мировоззрение", дарю ее Козиме в день рождения и облегчаю перед ней душу от страшных воспоминаний войны и ожидания смерти.

58

И все же, я еще раз убеждаюсь: чудес не бывает. Ничего даром не проходит, особенно у такого чувствительного типа, как я. Опять возвращаются желудочные боли, бессонница, мигрень, рвота.

Я уверен, что это сказываются переживания войны, быть может, даже более остро, чем застрявший в теле осколок. Его можно извлечь.

Думаю, что еще изводит меня непомерная преподавательская нагрузка. Да и работа над трагедией "Эмпедокл" усугубляет мое состояние.

Очень заманчиво последовать его примеру и броситься в кратер вулкана Этны, в явной, пусть и тщетной, надежде – вознестись на небо.

Я все более чувствую, что моя жажда абсолютной истины заставит меня уйти от Вагнера и его отравляющих меня запахом отхожих мест, помойных ям, позолоченных липкой сахарной пудрой. Я же их по ошибке принимал за трубы органа, несущие божественную музыку.

Я пытаюсь, насколько можно, отдалиться от кажущихся мне такими мелкими, и все же не дающих покоя мыслей, задумываясь над вопросами: является ли прямолинейность тайным и главным требованием души человеческой, а тяготение и искривление изводит ее? И может ли быть такое, что именно это противоречие между душой и временем-пространством породило наш мир и его бытие?

Неужели мы существуем для того, чтобы зажигать глаза массы, или масса это перегной, из которого мы вырастаем, великаны земли, и она дает нам возможность проклонуться и расцвести?

Чем более уменьшается моя вера в Вагнера, тем более уменьшается во мне вера в самого себя, как в человека, любящего музыку. Эта опера, которую, по мнению Вагнера, я должен был сочинить, о чем он говорит мне при любой возможности – никогда не перестанет меня преследовать.

Я отдаляюсь от Вагнера, вообще, от музыки – к музыке моей прозы.

Водан, он же – Вотан – высший нордический бог, сотворивший небо и землю, в "Кольце Нибелунга" Вагнера, носит деревянные башмаки, стук которых грозит заглушить мягкие шаги Заратустры.

Но между открытым признанием грехов и биением себя в грудь я всегда выберу самоунижение, в противовес Вагнеру: каждое уклонение от общепринятого он возвещает городу и миру.

Нужна мне была одна картина обширной жестокости в стиле оперы "Кармен" Жоржа Бизе, чтобы мой мозг начал постепенно очищаться от паутины кошмаров Вагнера.

Согласно логике Гегеля, я отбросил отрицание и возвысился до высокого музыкального синтеза, который нашел еще в двадцатилетнем возрасте у Берлиоза. В молодости я приблизил сердце к Берлиозу и тем самым спасся от фокусника Вагнера, от пустого пира иллюзий, столы которого уставлены любовными радостями, питающимися из бесконечной пустоты. Пик моих надежд был всегда и пиком моих мыслей о жизни – это кредо Заратустры. И потому я вернулся на снежные вершины Берлиоза, окутанные, как вершины швейцарских Альп, облаками, заряженными молниями и громами, набирающими энергию из источника Сотворения, который выше впадин и долин Вагнера, где пасется рогатый скот и свиньи, вязнущие в грязи чувственности Парсифаля – впадинах духа Диониса.

Быть может, я так бы и остался клятвенным поклонником Вагнера, если бы русская ведьма не превратила Таутенбург в Венусбург – бугорок Венеры. В Таутенбурге смерть подожгла мою тягу к жизни огнем страсти моего идола, охваченного похотью музыки Вагнера которая, была, по сути, ярлыком общества. "Просвещенный", простите, человек, вероятнее всего, всегда будет поклонником Вагнера, и не окажется отвергнутым, как профессор Ницше, к примеру, рожденный диким ослом. Спустя каких-нибудь пятьдесят лет имя Вагнера станет поводом иска за клевету.

И когда в нормальном обществе будет упомянуто название оперы Вагнера, зазвучит голос Гретхен из "Фауста": "О, ангелы, святые рати, храните меня!"

О, боги, неужели я мщу Вагнеру за собственное мое ослепление в молодости его лживым искусством декадента. Но ведь за грехи молодости может нести наказание сам обманутый. Как написано во Второзаконии – "Мне отмщение и аз воздам". Но кто-то же должен бросить правду в лицо обманщику, каким бы великим он не представлялся массам, периодически подверженным влиянию в стиле "Похвалы глупости" Эразма Роттердамского.

Ведь, честно говоря, я в самом начале основал свою философию на искусстве, и бросил якорь в Трибшене. Там Козима исполняла роль Нимфы Калипсо, соблазняющей молодого

Одиссея, то бишь, Улисса, совершенно не похожего на хитрого лиса и скрывавшегося под августейшим именем Фридриха Вильгельма, песней Сирены, взятой ею у старого сатира. Но я не прервал связь с Вагнером, потому что решил наставить ему рога, которые он сам наставил своему герою Зигфриду.

Я декларирую себя, как нарушителя морали, по примеру циника Диогена, чтобы шокировать мелкобуржуазную публику. Но, по правде говоря, я фанатик морали, защищающий ее объективными фактами, чтобы хранить моральную трезвость суждений мира. Потому я вернулся и основал свою философию на научных истинах. Я покинул культ Орфея, в стиле Вагнера, основанный на крови быков и путающий истерию с искусством.

Козима – первая женщина, которая открыла мне самого меня, как и сумасшедшего короля Баварии Людвига, абсолютного поклонника и покровителя Вагнера. Это о нем Вагнер истступленно выкрикивал: "Король может перевернуть весь мир!"

Я вздрагивал при этих криках, уже тогда страхась атмосферы дома умалишенных. Страх мой был не напрасным, если учесть до чего я докатился.

Этот король забрасывал все дела государства во имя искусства и вливал деньги из казны и свою черную меланхолию в волны субъективного безумия Вагнера. Конец известен: короля поместили в сумасшедший дом.

Сократ прав, говоря, что большинство людей живет, по сути, в пузырях или в тенях. Но король, живущий в эстетических иллюзиях, как, к примеру, тот самый монарх Баварии Людвиг, – строит настоящие башни рядом с парящими воздушными башнями, и превращает свою монархию – в империю хаоса, подобную этому дому умалишенных.

Но сама Судьба возложила на меня – быть королем европейского интеллекта, Наполеоном философии, и потому я не мог преклонить колени вместе с сумасшедшим королем Людвигом, и поцеловать большой палец ноги Папы Вагнера.

Лицо Людвига свидетельствовало о нервном расстройстве. И я бежал, спасая душу, из Байрейта, где король и Вагнер продолжали бесчинствовать вокруг трупа нормальности.

Когда я видел Козиму в последний раз, она окинула меня влюбленным взглядом, печальная, как последние звуки увертюры к "Парсифалю".

Но я должен был обречь ее на жертву моей человеческой и сверхчеловеческой гордости. Ведь я стоял беззащитным перед великой загадкой этой женщины, до такой степени, что превратился в раба любви, этакого пожизненно плененного ею раба. Я бегал посыльным по ее делам, выполнял по ее повелениям черную работу. Я, по сути, превратился в ее вещь, унижающую во мне мужчину. Как у настоящей поклонницы Вагнера, огонь ее любви ослабел, но снова вспыхнул убийственной страстью – уничтожить, разрушить, извести меня, как мужчину, чтобы суметь понести меня на своей голой спине в рай валькирий, в этот публичный дом, называемый феминистками государством женщин.

Пламя любви, сжигающее ее лицо, выражало нигилизм нашего времени – любовь к разрушению и разрушение любви. И это произошло после того, как она потеряла связь с таинством бытия, с чудом ее собственной сущности, протягивающей руку к Вселенной истинной красоты и мощи.

Невыносимо было видеть, как она жаждет стереть себя под сапогом убийственной похоти. Вагнер однажды рассказал мне, что поместил меня между Козимой и своей собакой-сукой, другими словами, между двумя суками. Я сбежал от соседства с сукой, как когда-то спасся от сумасшедшего короля и самого Вагнера, ибо любовь к познанию привела меня к познанию любви. Благодаря Козиме я открыл, что не Дионис, а сама смерть вырвалась криком из горла Парсифаля: "Смерть, смерть, – последняя милость!"

И если я потерял любовь женщины из-за пристального и пристрастного моего взгляда на великие таинства Евы, моя любовь к ней будет со мной до последнего вздоха. Я прощаю ей все преступления, как Адам простил Еве. Заживо погребенный здесь в своем одиночестве,

чувствуя, как череп мой раскалывается от невыносимой боли, я еще и еще раз уверяю себя и заверяю всё, написанное мной в жизни, самой искренней и истинной печатью: "Верно".

Единственное, что возникнет в нашем конце, чем еще этот миг наградит нас в завершение – это чистейшее созерцание, в котором вместо света все вещи будут окрашены в печаль, отрезвление, усталость, алчность или наше воодушевление.

Гордость моя потеряна, потому что Нимфы сделали меня беспомощным, или я сам потерял стойкость, устремившись на поиски скрытой мощи истинного знания. Только оно, единственное, может спасти нас в приближающийся Судный День.

59

Сумасшедшие, с которыми я разговариваю каждый день, абсолютные эстеты. Когда играю на рояле, они приходят ко мне с претензиями: почему я не исполняю Вагнера – идола любого сумасшедшего.

А я думаю о том, что моя прекрасная Нимфа оставила свой подвал в Таутенбурге, и возвышенная ее кровать покрывается паутиной, в то время как она сидит в Париже со своим философствующим евреем Паулем Ре, пьет пиво и поет мой "Гимн жизни", который я сочинил для хора.

О, боги, неужели это я, законченный сумасшедший, впал в грех антисемитизма в стиле Вагнера из-за того, что Ре завладел сердцем моей возлюбленной? Это Вагнер платит своим товарищам тем, что обливает их грязью, как Мейербера, который столько для него сделал. А как же, еврей обязан быть подстилкой тевтонскому гению, будь этот гений трижды непорядочным. Будучи неисправимым сумасшедшим, я не могу пристраститься к охоте на евреев, чем себя развлекают душевно здоровые филистеры, которые со времен стойка Апиона использовали мышление, чтобы предать разум, как это делают, с позволения сказать, "арийцы", поклонники Вагнера.

Может быть, я слишком пристрастен к нему, когда по его ненависти к еврейству и общей его лживости подозреваю в нем скрытого еврея.

Можно ли иначе объяснить его ненависть к еврейскому племени лишь тем, что Мейерберы и Мендельсоны отобрали у этого ястребка причитающуюся ему, в чем он абсолютно уверен, добычу? Как говорила мне моя русская Нимфа, уверен, тоже из евреек, у "добрых" российских антисемитов бытует поговорка – "Жид крещённый, что вор прощенный". Потому с омерзением в душе сбежал Гейне из Афин в Иерусалим, где нет этих больных композиторов и философов, которые возлегают пресмыкающимися наростами на сухой ветви жизни. Они питаются, как черви, холостыми нитями диалектики, пустыми рулонами рассудка, в которых нет никакой связи с бьющей ключом жизнью.

Еврей Иисус Навин осмелился обратиться к Богу и остановить солнце, ибо относился с полным пренебрежением к платоникам, сократикам, и им подобным.

Фарисеи умели связывать мысль с реальностью, идею с действием, реализуя гётевский подход к бытию. А окаменевшие сыны Моисеева закона, ранние христиане, опустошенные и отошедшие от истинного еврейства, превратили в сомнительное чудо собственную слабость принятием креста.

Гордый еврей, как Гейне, мог только смотреть на собственное крещение, как навязанное ему, а его эллинизм выразился в однодневном посещении храма Венеры. Но она своими изломанными конечностями не могла обнять его и спасти от агонии. Она предала его, как и меня.

Подобно Гейне, я отдаю большую дань уважения еврейскому громовому, грозному Богу Яхве, который не предаст нас, как мы себя предали кресту, сдавшись собственной дряблости, и отчаянию нигилизма, вместе с Вагнером и Шопенгауэром.

Не слишком ли много я размышляю о Вагнере, Лу Саломе, даже об этом сомнительном Пауле Ре.

Даже если в нескольких пунктах я был прав в отношении Вагнера, несомненно, ошибся, когда спутал понимание его с пониманием его творчества, нужду с борьбой за существование в современной культуре.

В конце концов, что такое музыка? По сути, она – фейерверк инстинкта, повелевающего страдать, некий чистый талисман животности в человеке. Я был знаком со многими музыкантами всех видов, и никто из них не произвел на меня впечатления как человек культуры.

Глава пятая

Рождение трагедии

60

Я проснулся с невероятно отчетливым воспоминанием, казалось, начисто стертым из памяти. Оно пришло выпуклым до мельчайших деталей мгновением.

Нет, это не был сон.

Это была первая проклюнувшаяся капля дородового беспамятства, но в нем уже были целиком – Бытие и Ничто. Я даже ощутил их соприкасающиеся края, как закраины, не сливающиеся вовек.

Я был вне жизни. Но это и была жизнь.

Время стыло неподвижно. Стрелок не было и в помине. Стояла сплошная жуть. Но это и было блаженство. Цепями сплетались, слетались и разлетались, подобно птичьим стаям, нагие женщины. Но мне нужна была опора – братик. Он лишь возник, как его убрали. Зачем? Почему?

Ответа не было. Был лишь Свет, мягкий, неподвижный, вечный. Отсутствовало хотя бы что-то, на что можно было опереться, – память, судьба. Я понял, что нахожусь по ту сторону ума, а значит, и Бытия, и Ничто. И как тут безжалостно чудно.

Но Некто беззвучно, и все же откуда-то знакомыми толчками, в будущем мучительными, как перебои сердца, подавал знаки: а как же быть с ожидающей тебя твоей необычной судьбой, которая лежит нетронутой, но так необходимой для раскрытия?

Она подобна свитку Архангела, еще не развернувшего его в небо.

И тут пришло отчаянное нежелание двинуться всем своим отсутствием на Свет, накатило чем-то неизведанным, неназываемым – девственно первым ощущением: это была боль, сжатие, тошнота, и это были первые симптомы проклюнувшейся памяти, сквозного ощущения через всю мою еще не начавшуюся жизнь до самого его конечного предела.

Я раскрыл нечто, оказавшееся моими глазами, и увидел на календаре – двадцать третьего мая тысяча восемьсот семьдесят первого года.

Завтра будет Катастрофа – медленное и непреодолимое начало заката мира, и я, знающий это давно, и в силу слабых моих возможностей бьющий в набат, бессилён это предотвратить.

Завтра подожгут Париж к вящей радости новых Геростратов, – шарлатана Гегеля и невыносимого старикашки Вагнера, давно сеющего смуту и требующего за это денег.

Стояла остолбеневшая тишина, и все окружающие меня вещи, и само сворачиваемое облаками небо было остолбеневшим.

К вечеру следующего дня пришло сообщение, распространившееся по миру, как огонь в сухом хворосте. Голь перекатная, которую безответственные интеллектуалы, типа Гегеля и Вагнера окрестили возвышенными кличками "революционеров и коммунаров", подожгла в Париже дворец Тюильри и есть слухи, что подобралась с огнем к Лувру, сокровищнице человеческого гения.

Сами собой катились слезы из глаз, которые я не смыкал двое суток, молясь неизвестно кому, в надежде, что редко посещавшая меня магия ясновидения, в которую я не верил, окажется ложной.

Предшествующее этому событию время, несмотря на ужасное состояние моего здоровья, что потребовало отпуска по болезни и поездки с сестрой в Лугано, было необыкновенно плодотворным, а, значит, счастливым: я работал – писал и правил первую свою серьезную книгу "Рождение трагедии", которую затем широко цитировали под названием "Возрождение трагедии из духа музыки".

Так ему – духу нашего времени – хотелось это слышать.

А ведь, на самом деле, книга задумывалась, как рецепт эллинов против распространявшегося в наше время ничем не сдерживаемого пессимизма, а значит, и нигилизма – каким образом эллины преодолевали пессимизм с помощью трагедии. Это преодоление воплотилось в Аполлоне, породило весь олимпийский мир вообще.

Откуда же возникла такая огромная потребность, приведшая к возникновению столь блистательного собрания олимпийских существ?

Эллин, как разумное существо, знал и ощущал страхи и ужасы существования. И чтобы иметь вообще возможность жить, он вынужден был заслониться от них солнечной когортой небожителей Олимпа.

Затем уже в истории человечества аполлоническая культура возникала там, где необходимо было бороться с чудовищами и одерживать над ними победы с помощью иллюзий, которые на поверку оказывались мощным средством умерщвления разверзающихся гибелью бездн и ужасов на пути к смягчению нравов.

Чем привлекает нас во все времена Сократ? Он сумел не только жить по открытым им законам разума, но и умереть, защищая эти законы. Другими словами, он впервые в человеческом общежитии разумом преодолел страх смерти.

И, конечно же, это был решающий поворот в мировой Истории.

Несмотря на нелегкое физическое состояние, я был полностью погружен в работу над книгой, чему также способствовал очаровательный швейцарский городок Лугано на склоне горы с удивительным фоном синеющих дальних гор и белизной совсем далеких, снежных Альп, воистину подобных престолам неба.

Уютно мне было прогуливаться по арочным галереям вдоль узких улочек, выходить на набережную озера, отделенную от вод ажурным металлическим бортиком. Пока я доходил до таких же ажурных ворот, как бы распахивающих мне путь в озерное пространство, казалось, ведущее в Никуда, синева гор после заката все более густела до наступления сумерек.

Как это ни странно, а, быть может, и вовсе не странно, идея книги пришла мне и обдумывалась в холодные сентябрьские ночи, под ворчание дальних орудий, у стен города Меца, где я исполнял обязанности санитара.

От этой идеи неприлично пахло духом Гегеля в пришедшей мысли о единстве противоположностей дионисийского и аполлонического начал. Однако, буйствующий Дионис и уравновешенный Аполлон были очень кстати в ту ночь стонов раненых и бесчинствующих неподалеку безмозглых богов войны.

Казалось мне, злые демоны, вырвавшись из-под земли, глухо переговаривались, плотно пережевывая человеческие жизни.

Буйный Дионис не отставал от меня в течение семи лет пребывания в лоне эллинского языка и культуры. Я общался со всеми философами Эллады, можно сказать, не выходя из пещеры Платона.

В эти минуты окружающей меня бессмысленной гибели во фронтовой мясорубке, весьма странным показалось мне, что я не очень интересовался жизнью за пределами этой пещеры. А там опьяневший от мюнхенского пива, обернувшийся красношеим обрюзгшим немецким бюр-

гером, Дионис раздувался от избытка явно не нужной ему жизни, перехлестывающей смерть, и сбивал с Древа познания ненужные ему плоды. В иных обстоятельствах древних времен этот избыток жизни был движущей силой, которую я бы назвал волей, не дающей человечеству исчезнуть в Небытии. Это нельзя, невозможно сбрасывать со счета лишь потому, что унылое сострадание было неправильно понято кучкой древних евреев – ранних христиан, вопреки господствующему в народе Израиля воинственному духу сопротивления более мощным и жестоким соседям. Те ведь только и мечтали сбросить этот народец, "не значащийся среди народов" в тут же, совсем рядом, столь манящее, уходящее за горизонт, великое море. Соблазн был столь же велик. Но именно благодаря воинственному духу избытка жизни этого небольшого народа, несмотря на пессимизм его великих мудрецов типа Экклезиаста, врезавших в память всего мира слова о жизни: "суета сует, всё суета, и затеи ветреные", ему удалось победить вечность. А державы и империи, пытавшиеся извести под корень этот народец, с превеликим треском и шумом провалились в небытие.

Даже Эллада, открывшая трагедию, как силу преодоления пессимизма, но не сумевшая преодолеть запретной страсти к юношам и требующая от них изнеженности вместо воинской доблести, не сумела устоять перед опасностью исчезновения, щедро оставив наследие миру в ваянии, философии, драматическом искусстве.

В эти скорбные минуты я, как никогда ранее, переживал радость существования, включающую в себя и восторг уничтожения во имя жизни.

Я вдруг трепетно ощутил себя истинным открывателем нового: в буйном состоянии Диониса открылся мне философский пафос и пока еще смутно нащупываемые корни трагической мудрости, чего я не находил у великих греческих философов, ну, быть может, нечто подобное лишь у Гераклита, к которому всегда испытывал особое почтение.

Феномен Диониса внезапно предстал передо мной единым корнем всего искусства Эллады, совершенно превратно преломляемого в ранних операх Вагнера, герои которых размахивали, как жупелом, знаменем революции, чей цвет невинно пролитой крови был кощунствен.

Все эти мысли в свете вершащихся вокруг меня событий возвышали мужество, силу воли и стремления к жизни человека даже в кровавой воронке несправедливости феномена войны.

И возникший, казалось бы, некстати, в моих размышлениях Сократ, первый декадент в Истории, оказался весьма кстати. Он полагался на разум, что было смешно в свете развития на протяжении тысячелетий Истории человечества.

Если бы обладающие волей и высоким достоинством не могли рисковать жизнью во имя этих истинных ценностей, мир превратился бы в болото сплошного рабства и деспотии, ибо подонки общества одержали бы над ними верх.

Я, быть может, первый в области человеческой мысли откровенно сказал, что в таком контексте существует и "радость уничтожения".

Вот, что рождает трагедию и триумф жизни.

Вагнера только и потряс этот триумф, неправильно им понятый: он не признал себя в этом первом серьезном моем сочинении.

И тут эта Катастрофа, парижский пожар.

Отчетливо вспоминаю строки тогдашнего письма другу Герсдорфу, Они текли из-под моей руки вместе со слезами из глаз: "...Когда я услышал о парижском пожаре, я был несколько дней раздавлен и затоплен слезами и сомнениями. Всё научное и философско-художественное существование показалось мне нелепостью, если оказалось возможным истребить за единственный день великолепнейшие творения искусства, даже целые периоды искусства, которое не может существовать здесь просто ради бедных людей, но предназначено к исполнению более высоких миссий..."

"Рихард оживлен, – читает мне в те дни Козима из своего дневника, – профессор Ницше говорит, что для ученых такие события равносильны концу всего существования".

Она смотрит на меня вопросительно, в ожидании каких-то слов, а я чувствую, как ширится трещина между упивающимся своей славой стариком Вагнером и чересчур сентиментальным по молодости и неважному самочувствию профессором по имени Ницше. Скоро между нами образуется целая пропасть. Но каждый день, после возвращения в Базель, отговорив лекцию в университете, не прислушиваясь ко всяким оговорам в мой адрес, и все время мучаясь тем, что передо мной сидят люди завтрашнего дня мира, я уже чувствую, как меня, одинокого приبلудного пса, тянет в Трибшен, – что-нибудь еще услышать из дневника Козимы, изнывая от ее запретной близости и упиваясь ее спокойным, кажущимся мне лучшей мелодией голосом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.